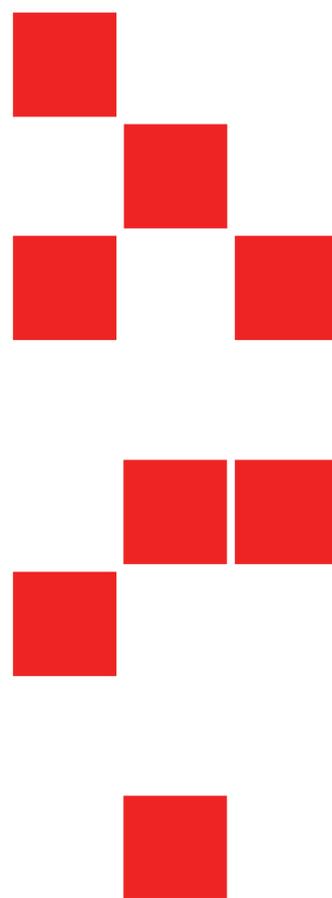


ISSN 2309-1584

НАЗ

НАЗИРОВСКИЙ
АРХИВ

№3 (17), 2017



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»

НАЗИРОВСКИЙ АРХИВ

научный журнал

№3 (17), 2017

Основан в 2013 г.

Выходит 4 раза в год

Учредитель:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«ПРИАМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА»

Главный редактор:

Б. В. Орехов, кандидат филологических наук (Москва)

Зам. главного редактора:

С. С. Шаулов, кандидат филологических наук, доцент (Уфа)

Редакционная коллегия:

В. В. Борисова, доктор филологических наук, профессор (Уфа)

Е. А. Выналек, кандидат филологических наук (Вроцлав)

А. А. Галлямов, кандидат филологических наук, доцент (Уфа)

П. Н. Толстогузов, доктор филологических наук, профессор (Биробиджан)

С. М. Шаулов, доктор филологических наук, профессор (Уфа)

дизайн — Д. Муслимов

Адрес журнала в Интернете:

<http://nevmenandr.net/nazirov/journal.php>

Адрес редакции:

450000 г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 32. к. 420

e-mail: nevmenandr@gmail.com

Ссылка на журнал обязательна.

Подписано в печать 30.09.2017. Усл. печ. л. 9,30. Уч.-изд. л. 9,31.

Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема
679015, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70-А

© ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», 2017

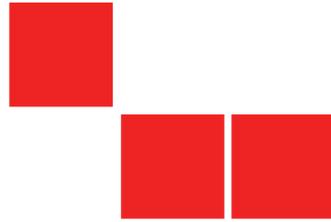
© Редакция журнала, 2017

Назировский архив
2017 № 3 (17)

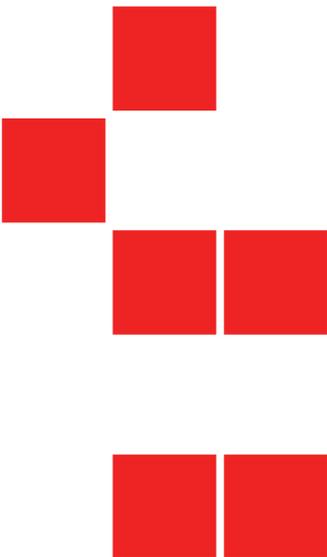
Содержание

Публикации	9
Холодец и борщ. <Рассказ> <i>Р. Г. Назиров</i>	9
«Роман о Пушкине». <Продолжение публикации> <i>Р. Г. Назиров</i>	18
Отзывы о статьях <i>Р. Г. Назиров</i>	53
Биографический отдел	58
Интервью с сыном Ромэна Гафановича Станиславом Назировым	58
Исследования	73
Роман «Звезда и совесть»: незавершенность как прием <i>А. Р. Зарипов</i>	73
Мнение	79
Интервью с С. Ю. Неклюдовым	79
Библиография	90

Дополнения к библиографии Р. Г. Назирова	90
Правила для авторов	91



Публикации



«Драма на охоте» — это
форма «неискренней
исповеди»
подумать о XX веке!
Кэтрин Мэнсфилд
и Агата Кристи

«Дузы» — полифония,
простейшая форма ^{пары} _{фрагм.}
Два жон — ребёнок и ^{фрагм.} _{ид.}
Андерсена.
Вынужденный визит на дузы,
как Ставр. — Таганда



Публикации

Холодец и борщ*

Р. Г. Назиров

Рассказ «Холодец и борщ» по образцу почерка датируется началом 70-х, но параллелей с романом Назирова о Пушкине не прослеживается. Он был обнаружен в архиве Р. Г. Назирова в двух редакциях: фрагментарной и законченной. Фрагментарная редакция заканчивается во время диалога Мицкевича и пани Марии. В них есть несколько незначительных различий и невозможно точно определить, какая из них написана раньше, а какая позже. Тем не менее, более поздней кажется полная редакция. В ней присутствует большая часть переработанных моментов из фрагментарной редакции (пусть они и разбросаны по другим частям рассказа) и по виду почерка похоже что полную редакцию записывали на «чистовик» — почерк там аккуратнее и есть только несколько небольших правок. Здесь мы публикуем полную редакцию, а все различия с фрагментарной приводим в сносках.

Андрей Максимов

I

Пан Адам жил на Большой Мещанской, в доме каретника Иохима. Пани Мария жила возле Михайловской площади; квартира её была на третьем этаже.

Она ещё сохраняла свою величавую красоту и иногда сама садилась за фортепиано, уступая просьбам гостей. Салон её был полон музыки, смеха и стихов на трёх языках. Пан Адам много острил; Пушкин рассказывал рискованные анекдоты¹, а для девиц Шимановских рисовал изумительные карикатуры.

Однажды пан Адам похвастался, что его повар умеет прекрасно готовить холодец по-литовски. Казалось бы, чего проще: обыкновенный свекольник с огурцами, яйцами и сметаной. Но пани Мария чуть не подскочила в кресле²:

— Не может быть! — сказала она. — В Петербурге едва найдутся три повара, которые могут сделать настоящий холодец!

*АРГН, оп. 3, д. 107.

¹Во фрагментарной редакции: «рискованные французские анекдоты».

²Во фрагментарной редакции после описания холодца есть ещё одно поясняющее предложение «Но во всём Петербурге не сыскать и трёх поваров, что умеют готовить холодец по-литовски». В следующем пани Мария говорит, что такой холодец может приготовить только повар князя Любомирского. В полной эти предложения объединены в одно, а Любомирский не упомянут.

— Клянусь бородой Магомета, мой Никифор умеет, — ответил пан Адам торжественно. — И не только холодец, но любое литовское³ блюдо!

— Одолжите нам его!

И на другой же день к Шимановским явился меланхолический толстяк с нежно-сиреневым носом. Он вручил хозяйке записку:

«Для устройства церемониала, обычного в подобных обстоятельствах, Нами высылается в качестве чрезвычайного посла и полномочного министра Его Сиятельство Никифор, экс-кухарь Нашего двора, действительный тайный пьянчуга, grand valet de chambre et de l'antichambre, Кавалер Ордена Веника и кастрюли, награждённый медалью за уморение тараканов и другою за выведение крыс, титулярный муж и отец нескольких детей, и прочая, и прочая.

Адам Мицкевич».

Пани Мария и девочки очень смеялись.

Она баловала его как родного сына, хотя в декабре 1828 ему исполнилось тридцать лет. Однажды она передела пана Адама в женское платье, и в таком виде он с семьёй Шимановских отправился на вечер к пани Залеской, с которой у него был роман. В Петербурге только поляки и умели по-настоящему веселиться.

Светило его ранней поэзии Марыля Верещак некогда отвергла любовь гения ради богатства заурядного помещика. В Одессе, Москве и Петербурге судьба вознаградила пана Адама за бессердечие Марыли¹.

Всё, написанное им в России, включая и трагического «Конрада Валенрода», отличалось мажорной тональностью. Он был в расцвете сил, верил в себя, верил в жизнь. Русская критика отнеслась к нему гораздо теплее, чем родимая польская, в которой были сильны защитники классицизма, нападавшие на Мицкевича. Пушкин² рассказывал на всех вечерах и раутах Петербурга о потрясающих импровизациях пана Адама у княгини Зинаиды Волконской в Москве.

Зимний сезон 1828–1829 года признавали очень веселым. Было много балов, танцевали до упаду. Поговаривали, что дунайская кампания не удалась. В феврале государь сместил Витгенштейна и вверил командование на Дунае Дибичу. А в конце февраля до Петербурга дошло страшное известие о гибели Грибоедова.

— Avez-vous lu des journaux? — спросила пани Мария вошедшего к ней Мицкевича. — Грибоедов погиб вместе со всем посольством! Les, imans ont declare la guerre sacree. Sa tete n'etait pas trouvee.

— C'est horrible, mais bien explicable, Madame, — ответил пан Адам.

— Полно вам притворяться кровожадным, это вам не идёт.

³В фрагментарной версии «польское блюдо».

¹В фрагментарной версии после этой фразы ещё было «он имел успех у дам и в Одессе, и в Москве и в Петербурге».

²Во фрагментарной версии ещё было «Пушкин неоднократно заявлял о превосходстве Мицкевича над собой».

— Кровожадным? О нет! Я сожалею о смерти поэта³, но вы сами знаете, чьим послом он был. . . Они отрезали от Персии un bon morceau de terre! Так что удивляться нечему.

— Кстати, о Самом: ходят слухи, что он, наконец, поедет в Варшаву.

— Это правда. — ответил пан Адам, — и уже скоро.

— Это подаёт вам надежду, не так ли?

— Может быть. Я уже боюсь верить в это.

— А из Третьего отделения вам ответили?

— Пока ни слова.

Мицкевич давно добивался разрешения на выезд, но Третье отделение медлило с решением его судьбы.

— Пушкин хлопотал за вас?

— Да, он подал фон Фоку записку с просьбой разрешить мне возвращение на родину. Это было. . .

Он наморщил лоб.

— Это было более года назад. Или после завтрака у Булгарина, где мы сошлись с Пушкиным, или перед этим завтраком. . .

— А что за человек этот фон Фок?

— Le plus jovial des chiens de l'empereur. Вы же знаете, что Бенкендорф — великий сибарит, завсегда тай балетов и покровитель дебютанток. Всеми делами в Третьем отделении вершит фон Фок.

— Фон Фок, Бенкендорф, Клейнмихель, Пумперникель, Шнюспельдпольд. . .

Она глядела в потолок и загибала пальцы, словно перечисляя.

— Schleifenträger und Hundes. . . deck! — закончила она.

Пан Адам улыбнулся.

— Que vaulez-vous, Madame? La dynastie aime les Alemmands.

Видная и статная, с округлёнными и сильными плечами пианистки, пани Мария напоминала бы Юнону или Минерву, если бы не её привычка носить тюрбан. Она носила его не в подражание мадам де Сталь, а просто потому, что он был ей к лицу.

Каминные часы прозвонили, и она поднялась.

— Мне пора собираться во дворец. Полистайте парижские газеты.

Оставшись один, он почитал немного, со скукой отбросил газеты и подошёл к окну. Ненавистный город показался ему ещё сквернее в этом жалком подобии весны, в мутных лужах и грязных клочьях последнего снега. Вот столица империи, простёршейся от Пруссии до Китая?! Почему Господь судил так, а не иначе?

Он снова с печальной симпатией вспомнил Москву, салон принцессы Зинаиды, милое личико Каролины Яниш. . .

³В фрагментарной версии ещё была фраза «Говорят, его голову так и не нашли».

Внизу послышался цокот копыт по булыжнику. К дому подъехала придворная карета. По лестнице застучали быстрые шаги, в передней показалась дворцовая ливрея, камерлакей заглянул в гостиную.

— Госпожа Шимановская сейчас выйдет, — по-русски сказал ему Мицкевич. — Подождите немного.

Пани Мария была пианисткой его императорского величества и ещё обучала музыке великую княжну Марию Николаевну, любимую дочь государя.

Пан Адам набросил свой плащ, взял шляпу из рук гайдука и, дождавшись пани Марию, предложил ей свою руку. Спускаясь с нею по лестнице, он спросил:

— Каковы успехи вашей соименницы?

— Для дочери такого отца, право, недурные.

Они тихонько засмеялись.

Подсаживая её в карету, пан Адам внезапно продекламировал по-русски:

И вы, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой. . .

— Это я то «молодая красотка»? Благодарю! Чьи это стихи?

— Пушкина.

— Очень мило. Кстати, куда он пропал?

— Уехал в Москву.

— Опять? Но он только два месяца назад вернулся оттуда! Что он там забыл?

— Я полагаю, своё сердце.

Мицкевич поцеловал руку Шимановской и дверца захлопнулась.

II

Весной 1829 года Николай Павлович выехал в Варшаву, чтобы короноваться, наконец, своей второй короной — польской. В Литве его встретил ледяной приём. Тем не менее, прочитав строгое отеческое внушение виленским студентам, государь приказал освободить их товарищей, членов тайных кружков, сосланных в 1824 году в Россию. Это прощение касалось и пана Адама.

Он помчался с этой вестью к Шимановским, и пани Мария тотчас велела подать шампанского.

— Теперь домой? — спросила она, сияя от радости.

— Увы, нет! Разрешение дано на выезд в Германию и Италию.

В этот день Петербург казался ему не таким отвратительным. Накрапывал мелкий дождик, потом перестал; тучи поредели и расплзлись, между ними показались тихие голубые улыбки, и блеснуло неуверенное солнце Севера.

Пан Адам напевал, торопясь к себе на Большую Мещанскую.

В Мещанских улицах обитали мелкие чиновники, купцы и ремесленники-немцы, здесь было много мелочных и табачных лавок, а также «весёлых домов». Из окон доносились запахи краски, клея и дыма, а ближе к вечеру — горячих сосисок с капустой, аромат кофе и свежих булок. Соседки перекликались друг с другом из окон:

— Аделина Ивановна, kommen Sie zu mir!

— Попозже, голубушка, ich habe keine Minute!

Четырёхэтажный дом каретника Иохима стоял напротив Столярного переулочка и был весь облеплен золочёными вывесками: «Hebamme», «Marchande des modes», «Confiserie», два портных, сапожник, чулочный фабрикант, молочная лавка, табачная лавка, магазин сбережения зимнего платья. . . Пана Адама забавляло соседство модного магазина с повитухой («Небамме»): он хорошо знал, что собою представляют петербургские «marchandes des modes».

Подходя к дому, он ещё раз взглянул на небо и второпях чуть не столкнулся с низеньким кривоногим юношей, одетым бедно и кокетливо. Пан Адам успел заметить, что длинный тонкий нос и печаль унылой заботы на челе делали юношу неувлимо забавным. Слегка задев его краем плаща, Мицкевич живо приподнял цилиндр и извинился.

Уже произнося эту автоматическую формулу, он вдруг осознал, что говорит по-польски. Тотчас остановившись, он хотел повторить извинение по-русски, но тут случилось неожиданное.

Маленькие карие глаза незнакомца блеснули дикой иронией, и он громко, чуть протяжно ответил:

— Нэма шкоды, мосьпане, хай соби пан не турбуэться!

Украинец!

Пан Адам, онемев от неожиданности, раскланялся с насмешливым юнцом и вошёл в подъезд дома.

Поднимаясь по ступенькам лестницы, он всё ещё видел своим мысленным взором это странное лицо.

— Ещё по-детски гладкое, с пухлыми красными губами, с птичьим носом и огоньком язвительного ума, внезапно прогнавшим унылость. Откуда он взялся? Раньше его тут не было видно. Не иначе, как недавний жилец.

Пан Адам уловил нотку вызова в голосе юноши. Ну, да Бог с ним! Предстояла масса дел, нужно было готовиться к отъезду.

III

После отъезда Данилевского Гоголь оказался в стеснённом положении и заскучал. Сиро и неуютно сделалось ему в столице.

Для очистки совести он обивал пороги департаментов и делал вид, будто ищет места, но он знал, что его ждёт иная карьера. Его поэма избавит его от необходимости служить

и пересчитывать гроши, даст ему громкое имя и распахнёт перед ним двери литературных салонов. Он узнает всех знаменитостей — Жуковского, Булгарина, Пушкина! Они представят его в высшем свете, а там, быть может, дойдёт и до...

Но тут он досадливо встряхивал головой.

Петербург в те годы стремительно разрастался и перестраивался. Как раз в 1829 году закончилось долгое строительство Главного Штаба; бронзовая колесница славы украсила здания, а фасад был освещён газом, как в Лондоне или Париже. В те же годы барон Шиллинг соорудил свой электромагнитный телеграф, и по приказу государя первые линии соединили Зимний дворец с министерствами. Столица была полна блеску и соблазнов, но надёжной защитой от них был «слишком неплотный карман» Гоголя. Продовольствие стоило так дорого, что у него не оставалось на театр.

Его неотступно мучила мысль: «Как бы добыть этих проклятых подлых денег?». Он с ужасом и негодованием сообщал маменьке здешние цены: десяток луковиц репы стоит 30 копеек!

Впрочем, в письмах к маменьке он намеренно сгущал краски, жаловался на безденежье и намекал на скорую перемену в своих делах.

Он подготавливал маменьку. Дело в том, что он уже договорился с издателем Адольфом Плющаром о тиснении своей поэмы — разумеется, на кошт автора.

В ожидании ответа маменьки он бродил по Петербургу и тёмным взором косился на сверкающие витрины. Наступила весна, усиливая в нём скуку и нетерпение.

Однажды недалеко от своего дома он увидел в открытом окошке белокурую девушку, поливающую свой гераниум. Полудетская полнота щёк и нежная ручка с фарфоровыми ноготками... Его как обухом по голове тронуло — Луиза!

Совершенная Луиза из его собственной поэмы.

Заметив его восхищение, беляночка слегка высунулась из окна и озарила его небесной голубишной своих неземных, таинственных очей. Улица оказалась пустынной, только проезжала ломовая телега, да вдалеке усатый булочник кликал разносчика, кивая ему толстым своим пальцем.

И тут раздался её хрустальный голосок.

— Kommen sie zu mir, yunker!

Негнуцимися ногами Гоголь сделал три шага к окошку и увидел тёплую тень в приоткрывшемся капотике. Он судорожно обшарил свою память и добыл нужную фразу:

— Womit kann ich dienen, Mademoiselle?

Она вперила в него наивный и блестящий взгляд и несколько секунд рассматривала с развлечённой миной, затем усмехнулась дивными губами и что-то прошептала как бы про себя.

Гоголь оторопел, сердце в нём замерло. И тут красавица заговорила по-русски:

— Ну, что ви рот разинуль, словно арку Главного Штаба?

— Пардон, мадмуазель, не понимаю вас, — пробормотал он.

Она улыбнулась и стала ещё прелестнее.

— Полноте играть в мольшанку, миленький кавалер! Ступайте ко мне в дом! Имеете ль денег?

Гоголь упал с небес на землю.

— Вы ошиблись, мадмуазель, я иду по своей надобности.

— Ви чиновник али не слушите?

— Я... поэт.

— Поэ-э-эт? — голубые глазки недоумённо округлились.

Она ещё раз смерила его взглядом. Затем окошко захлопнулось, и небесное видение исчезло.

«Имеете ль денег?» Гоголь шёл, дрожа от нервного смеха! Вот и ещё одно столкновение мечты с существенностью!

IV

Почки ещё не распустились, на деревьях не было зелени, но 1 мая состоялись традиционные гуляния в Летнем саду, на Адмиралтейском бульваре и в Екатерингофе.

Гоголь отправился посмотреть знаменитое Екатерингофское гулянье, где обязательно присутствовал высший свет и даже иные из министров. Под надзором полиции в парадных перчатках бесконечные вереницы карет с гербами, с усатыми гайдуками на запятках медленно продвигались вокруг Екатерингофа. Ехали столь плотно, что лошади последующей кареты фыркали в лицо гайдукам, стоящим на запятках предшествующей. Иногда дефилада совсем останавливалась и дожидалась, пока впереди рассосётся заминка.

Играла музыка, грело, скупое солнце, пыль стояла тучей. Простая публика густыми толпами окаймляла проезд, глядя на кареты, а из окон карет ответно выглядывали старые и молодые, мужские и женские лица с одинаковым выражением рассеянного достоинства.

Дух весёлой литовской полонянки давно отлетел от этого места, носившего её имя. На лицах, колыхавшихся в окнах карет, не было видно ни одной улыбки.

Давка наскучила Гоголю. Он выбрался из толпы, сплюнул чёрную слюну и поспешил к себе на Большую Мещанскую.

Яким в тот день тоже оказался не в духе. Им обоим надоели эти проклятые расейские щи да каша.

— Паньчу, мени треба буракив! — в сотый раз заявил Яким.

— Видченясь, Якиме, де ж я тоби визьму буракив?

— Хиба ж у цилом Петербурзи буракив нема?

— Шукай! — ответил Гоголь.

Но Яким вздыхал, переминался и не уходил.

— А гроши? — робко спросил он.

— Геть видциля, бо зараз я тоби всю рожу растворожу! — в бешенстве крикнул Гоголь.

И на этом, как обычно, разговор кончился. Хотя Гоголь никогда не бил своего человека и жили они душа в душу, всё же Яким знал: когда паныч переходит на русскую мову, с ним лучше не спорить.

На другой день Гоголь написал матери длинное письмо и попросил её прислать 300 рублей. Гоголь сам отправился с письмом на почту.

Выходя из дома, он едва не опрокинулся, когда на него налетел красивый брюнет в циммермановской высокой шляпе и в плаще, ещё осыпанном каплями недавно пролетевшего дождика. Край плаща хлестнул Гоголя по коленям. Брюнет, чуть приостановясь, ловко подкинул над головой свой циммерман и торопливо проговорил:

— Przerajzam baradzo Pana!

«Вот как! — молнией сверкнуло в голове Гоголя. — Они уже в столице Российской империи заговаривают с незнакомцами по-своему, словно все должны знать их чёртов язык!»

Он увидел, что поляк понял свою ошибку и, слегка покраснев, приоткрыл рот, — но Гоголь его опередил:

— Нэма шкоды, мосьпане, хай соби пан не турбуэться!

Уловив издёвку, красивый поляк нахмурил свои бархатные брови, с надменным изяществом обозначил лёгкий поклон и быстро вошёл в дом Иохима. Положительно, дом, в котором жил Гоголь, представился ему Ноевым Ковчегом: кого здесь только нет, от привилегированной повивальной бабки до польского шляхтича!

Гоголь шёл и усмехался. Настроение его стало чуть лучше. В разрывах рыжих облаков показалось заплаканное бледное небо. Улицы, окропленные дождем, подсыхали на глазах, но там и сям на булыжной мостовой ещё темнели лужицы или мокрые пятна.

Одно такое тёмное пятно имело форму раздавленной крысы: голова, туловище, лапки врозь, длинный хвост.

Гоголь задумчиво обошёл «крысу».

V

15 мая 1829 года друзья Мицкевича, поляки и русские, провожали его за море. Козлов, переводчик «крымских сонетов», сказал полякам:

— Мы его получили от вас сильным, а возвращаем могучим!

Мицкевич жалел что не смог проститься с Пушкиным: того всё ещё не было в Петербурге.

Поцелуй, объятия, даже слёзы. . . Пироскаф отплыл, и над пристанью зареяли платки:

— Adieu! В добрый час! Bon voyage! Храни вас Бог!

Мицкевич стоял на палубе. Колёса пироскафа мерно вспахивали балтийскую волну. Берег таял на востоке.

— Zgnaj, przekleto miasto! — прошептал он.

Он посмотрел на серо-голубое небо, по которому пироскаф волок длинный шлейф своего чёрного дыма.

Здравствуй, море! Здравствуй, воздух свободы!

Он вынул из кармана пачку ассигнаций с портретами русских царей и, широко размахнувшись, швырнул их за борт. На миг они порхнули стайкой красных и синих птах, завиляли, опустились и исчезли. Пану Адаму не нужны были эти деньги.

Через неделю Гоголь получил из дому долгожданный пакет с пятью печатями, тотчас внёс Плющару необходимую сумму за бумагу и тиснение, и в июне поэма «Ганс Кюхельгартен» вышла из печати.

В тот день они с Якимом ели борщ. Но эта радость оказалось последней. . .

Спустя семь лет Гоголь и Мицкевич познакомились в Париже.

Роман о Пушкине*

Р. Г. Назиров

Предыдущие части романа публиковались в: «Назировский архив» 2014, № 4, «Назир-ровский архив» 2016, № 4.

Главы расставлены в соответствии с планом, который находится в оп. 1, д. 79, л. 79–2-36. В этом плане глава «Пергаменты и утопии» отсутствует. Относительно неё есть специальная помета:

Пергаменты и утопии

Глава вставляется в разрез «Гаданья мадам Кирхгоф», но после самого гаданья.

От главы «Кирхгоф» оставить 7 страниц. Только начало переделать.

Значит, «Пергаменты и утопии» — глава 10-я.

(оп. 1, д. 79 л. 79–2-44)

В то же время глава «Гаданье мадам Кирхгоф» значится в используемом плане под номером 7 и предшествует другим публикуемым здесь частям, например, «Хрустальная душа» имеет номер 8. Таким образом, эта нумерация не соответствует той версии плана, дополнением к которой служит приведённая выше помета.

Б. В. Орехов

Пергаменты и утопии

В середине XV века в Рязани жил боярский сын Василий Алаповский, у него было три сына: Иван, Есип и Иов. В 1488 году старшие из них Иван Муравей и Есип Пуца были переведены на поместье в Новгород. Рязанский род Алаповских (от Иова) давно угас, а от старших пошли Муравьевы и Пуцины. Родовые имена произошли от прозвищ Ивана Муравья и Есипа Пуци.

В начале царствования Екатерины генерал-майор Муравьев женился на Елене Апостол, внучке украинского гетмана Данилы Апостола. Сын их Иван присоединил к родовому имению и гетманово имя, стал называться Муравьев-Апостол. Он славился салонной любезностью, писал стихи, был российским послом в Гамбурге и Мадриде, а потом членом Коллегии иностранных дел и сенатором.

Три сына Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола, несколько просто Муравьевых и Иван Пуцин (лицейский друг Пушкина) оказались в конце александровой эры в числе виднейших заговорщиков.

* Публикация выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 16-14-02008.

Компания у них была отличная: князь Оболенский (Рюрикович), князь Одоевский (Рюрикович), князь Трубецкой (Гедиминович) — все князья «не по грамоте». Все они были познатнее самих Романовых. Пыль родословных книг и пергаментных хартий язвительно напоминала об их давних преимуществах перед царствующей династией. Да и откуда взялась эта династия?

При Иване Калите жил на Москве боярин Андрей Кобыла. Происхождение его неизвестно, в летописи он упомянут один раз. По родословной у него значилось пять сыновей, от которых пошли несколько знатных родов. Пятый из сыновей Кобылы был Федор Кошка, игравший видную роль в княжении Дмитрия Донского и его сына Василия, от этого Федора Кошки пошли Романовы и Шереметьевы.

Мало того, что они уступали знатностью отпрыскам Рюрика и Гедимины. После Петра Великого Романовы перемешались с немецкими князьками. Петр III был наполовину немцем: отец его был герцог гольштейн-готторпский, а матушка — царевна Анна Петровна. Павел Петрович, сын Петра III и Екатерины, был русским на четверть, а его сыновья — на осмьюшку. Напрасно наемные перья доказывали, что Андрей Кобыла на самом деле был литовский князь Камбила. Рюриковичи прятали усмешки в свою табакерку, а про себя ведали, какая это была «Камбила».

Романовы не вызывали особого почтения. Матушка Екатерина довела казаков и холопей до неслыханного бунта, Павел разорил знатнейшие фамилии, возвысив своего брэдобрюя Кутайсова и гатчинского каптенармуса, а теперь Александр Павлович совсем замолился, отдал власть в руки оного каптенармуса — темного хама Аракчеева, а тот того и гляди доведет дело до новой пугачевщины. Дворянство было недовольно.

Но были среди дворян и такие, которые прямо-таки стыдились, что в России еще сохранилось рабство. Еще в 1816 году флигель-адъютант государя Павел Киселев, участник Бородинской битвы, подал Александру I записку о постепенном освобождении крестьян от крепостной зависимости.

В 1818 году малороссийский генерал-губернатор князь Репин в речи к полтавскому и черниговскому дворянству призывал помещиков к добровольному ограничению крестьянских повинностей; он вызвал этим живейшее недовольство землевладельцев, которые рассматривали его как отступника от своих.

В том же году Николай Тургенев издал свой «Опыт теории налогов»: впервые в России гласно и в тоне научной объективности было заявлено о необходимости уничтожения крепостного права. Адмирал Мордвинов подал государю проект конституции. Свои проекты уничтожения рабства составляет и Егор Францевич Канкрин, финансовый деятель, не скрывающий своего презрения к министру Гурьеву. Весь 1818 год проходит в таком возбуждении умов, и государь как будто поощряет эти проекты. Во всяком случае — в принципе.

Но люди, считающие, что пока солнце взойдет — роса очи выест, не верят обещаниям императора. В Союзе Спасения (он с 1817 года называется «Обществом истинных и верных

сынов Отечества») в глубокой тайне готовят переворот с введением конституции и уничтожением рабства; доходят до планов царевубийства. В начале 1818 года, после роспуска Союза Спасения, на его основе возникает новое общество — более дееспособное и более численное. Оно называется «Союзом Благоденствия».

Одним из гнезд становится приличный дом на Фонтанке, где жили Карамзин, Батюшкин, Кипренский, а также Муравьевы.

Никита Муравьев играл в тайном обществе все возрастающую роль. Пушкин часто бывал у Муравьев, чувствуя, что за таинственными намеками и оговорками в этом веселом и дружном обществе что-то кроется. Он знал, что от него скрывают какую-то деятельность, но полагал что его друзья просто масоны. С одной стороны он стремился к посвящению в их тайны, с другой — его отпугивала серьезность этих людей. Он знал что масоны требуют от своих братьев нравственного поведения, а ему не хотелось расставаться с вольной молодостью.

Когда он пытался спрашивать, от него отделялись шутками и просили стихов. Долго сердиться он не умел.

II

В начале 1819 года Пушкин получил записку от Николая Тургенева: «Дорогой друг, в среду у меня соберутся люди, коим предстоит составить редакцию нашего Монитера. Ты знаешь, как сильно я на тебя рассчитываю. Итак, жду тебя к пяти часам, мы будем читать статьи для первого номера. Твой Николай Тургенев».

Пушкин был посвящен в планы издания политического журнала. Николай хотел издавать его легально, исподволь проводя в нем идеи Союза Благоденствия. Во вторник Пушкин играл у Никиты Всевожского, сначала выиграл пятьсот рублей, потом все спустил, запил неудачу шампанским и вернулся под утро домой. Раздраженные нервы обеспечили ему бессонную ночь, он писал свою поэму, лег под утро и проснулся к обеду. Им овладела хандра. И к Тургеневу он опоздал.

— Уже собрались? — спросил он у лакея, отдавая ему шубу.

— У Николая Иваныча сидят, батюшка Александр Сергеевич. — отвечал лакей.

Пушкин вошел во время чтения. Его лицейский товарищ Маслов, сидя рядом с хозяином, читал что-то о статистике. На видном месте восседал Куницын, любимый лицейский профессор: в те годы, частями печатался его труд «Право естественное». Пушкин сразу понял, что состав заседания подобран весьма определенным образом. Он тихонько уселся и лишь тогда обнаружил, что прямо перед ним сидит Иван Пуцин, его первый лицейский друг. Пушкин взял его за плечо, тот обернулся.

— Что ты здесь делаешь, Жанно? — шепнул Пушкин ему на ухо, — Наконец, поймал тебя на самом деле.

— Тсс! Слушай Маслова. — ответил с улыбкой Пуцин.

По окончании чтения Пушкин спросил:

— Верно, это ваше общество в сборе?

— Я тебе говорил уже, что нет у нас никакого общества. — нехотя ответил Пуштин — есть дружеские беседы без чинов и без устава, только трезвее ваших.

Пушкин рассмеялся, но не поверил. Он с большим основанием предполагал что в тайном обществе должна быть строжайшая конспирация.

— Что ты думаешь о статье Маслова? — спросил Пушкина хозяин.

— Я опоздал и не все слышал, а впрочем дельно, — ответил Пушкин. — Только почитаю сие не главным.

— Что же главное?

— А главное, как говаривал еще фернейский патриарх: *esca sez lin'fame*. Нужно как можно прямее проводить в будущем нашем издании мысль о том, что участь трехголовой гидры предрешена.

— Трехголовой гидры? Что ты хочешь сказать, дорогой друг?

— Три головы — самовластие, фанатизм и невежество!

Завязался общий разговор, в котором повторялась одна и та же идея: крепостное право подлежит уничтожению.

Куницын негромко заговорил, и все замолчали:

— Прежде всего, отечеству нашему необходима конституция, общее вотирование и правительство, ответственное перед палатами. России пора занять подобающее место в сонме цивилизованных держав. Наши упования имеют опору в примерах минувших веков: волюность в самой природе славянского племени, наши летописи хранят память Господина Великого Новгорода. Славянское вече — вот истинная демократия наших предков.

— А Земский Собор не может ли почестся подобием Генеральных Штатов?

— Исправить нарушения древнего социального контракта славян — наш долг! — вскричал Пушкин.

Глаза его сверкали, хандру как рукой сняло: в атмосфере заговора он чувствовал себя как в родной стихии. Пуштин наблюдал за ним внимательно и задумчиво. Он колебался. Стоило бы открыть Пушкину правду о Союзе Благоденствия. . . Но самолично Пуштин не в праве был принять такое решение.

III

«Зеленая лампа», тайный литературный клуб в доме Никиты Всевожского, превратился в филиал Союза Благоденствия. Ламписты давали клятву о сохранении тайны, как и члены Союза; за круглым столом в гостиной Всевожского шли разговоры о французской революции. Пушкин в красном колпаке якобинца читал свои мятежные оды и непристойные эпиграммы на его величество, на Аркачеева, на Стурдзу. Здесь же редактор журнала «*conservateur impartial*» Александр Улыбышев читал свои статьи «Письмо другу в Германию», «Беседы Наполеона с английским путешественником» и «Сон». Они не были рассчитаны на тиснение, по крайней мере, в ближайшем будущем, и представляли собой изложение в художественном виде идей Союза Благоденствия.

«Сон» Улыбышева произвел на лампистов сильное впечатление. Автору «снился», что он находится в Петербурге, но не узнает его. «На каждом шагу новые общественные здания привлекают мои взоры, а старые, казалось, были использованы в целях до странности непохожих на их первоначальное значение».

На фасаде Михайловского замка автор читает надпись золотыми буквами: «Дворец государственного собрания»; Аничков дворец стал Русским Пантеоном; общественные школы, академии и библиотеки заняли место бесчисленных казарм, коими был переполнен «прежде» Петербург, на Невском проспекте вместо монастыря высится триумфальная арка, «как бы воздвигнутая на развалинах фанатизма». В великолепном храме, превосходящем все памятники римского величия, звучит прекрасная музыка и идет богослужение, но оно ничем не похоже на христианское.

Автор спрашивает почтенного старца, какой веры его сограждане, старец отвечает:

«Вот уже около трех веков, как среди нас установлена истинная религия, т.е. культ единого и всемогущего бога, основанные на догме бессмертия души, страдания и награды после смерти и очищенный от всяческих связей с человеческим и суеверий. Мы не обращаем наших молитв ни к пшеничному хлебу, ни к омеле с дуба, ни к святому мирру, — но к тому, кого величайший поэт одной нации, давней нашей учительницы, определил одним стихом: «Вечность имя ему, и его создание — мир». Среди простого народа еще существуют старухи и ханжи, которые жалеют о старых обрядах. Ничего не может быть прекраснее, говорят они, как видеть архиерейскую службу и дюжину священников и дьяконов, обращенных в лакеев, которые заняты его облачением, коленопреклоняются и поминутно целуют его руку, пока он сидит, а все верующие стоят. Скажите, разве это не было настоящим идолопоклонством, менее пышным, чем у греков, но более нелепым потому что священнослужители отождествлялись с идолом. Ныне у нас нет священников и тем не менее — монахов. Всякий верховный чиновник по очереди несет обязанности, которые исполнял я сегодня. Выйдя из храма, я займусь правосудием. Тот, кто стоит на страже порядка земного, не есть ли достойнейший представитель бога, источник порядка во вселенной? Ничего нет проще нашего культа».

Улыбышев намекает в своей утопии на великие события, сокрушившие деспотизм в России. Оковы, державшие нацию в рабстве, разбиты.

«В это время мы находились посреди Дворцовой площади. Старый флаг висел над черными от ветхости стенами дворца, но вместо двуглавого орла с молниями в когтях я увидел феникса, парящего в облаках и державшего в клюве венец из оливковых ветвей и бессмертника». И мудрый старец поясняет автору, что давно уж отрублены две головы орла, которые обозначали «деспотизм и суеверие».

Старец зовет Улыбышева в прекрасное здание, которое видно за Невой. Это Святилище правосудия, где заседает спутник автора. Улыбышев хочет перейти мост, но внезапно просыпается.

Он просыпается от воплей пьяного мужика, которого тащат в участок под звуки рожка и барабана. «Я подумал что исполнение моего сна еще далеко». Так закончилась утопия «Сон».

Чтение Улыбышева вызвало шумное обсуждение. Пушкину не понравилось, что христианскую церковь, автор заменил какою-то новою, надуманной религией. Однако политические предсказания Улыбышева были по сердцу лампистам.

Пушкин переживал сложный год, он метался, искал точку опоры. В полном друзей Петербурге, ему не всегда находилось, с кем отвести душу.

Дельвиг, милый Дельвиг, ленивый и беспечный античный мудрец, был скромн, и великие политические вопросы не трогали его: он соглашался со всем, что говорил Пушкин, но скромно оставался в стороне от политической лихорадки тех необычных лет.

Честный Жанно был серьезнее Дельвинга, но он был строг к Пушкину, вел себя, как старший брат с младшим, и многое скрывал: принужден был скрывать, это Пушкин хорошо понимал.

«Арзамас» приказал долго жить. У Никиты Всевожского было чертовски весело и интересно, но все же это была молодая компания, к «Зеленой лампе» в Союзе Благоденствия относились с улыбкой. Грибоедов, с которым Пушкин начал было сходить, уехал в Персию. Катенин, человек умный, но тяжелый, кажется не лишенный некоторой завистливости, никогда не признавал себя не правым. Отношения у них с Пушкиным сложились странные: Пушкин был без ума от него, подражал даже его быстрым жестам и резким репликам в разговоре, но в то же время сознавал невозможность дружбы между ними. По мнению Пушкина своим характером и образом мысли Катенин весь принадлежал 18 столетию. . .

Вот и получалось, что Пушкин знал весь Петербург, но не знал, к кому прислонить плечо. Друзья были, недоставало точки опоры.

Один лишь такой человек был у Пушкина — надежный, как скала, безукоризненно светский, глубокий мыслитель и в то же время воин, проверенный в огне Бородино: Чаадаев. Их встречи были не столь уж частыми, но имели для Пушкина огромное значение. Дружба с этим странным гусаром возвышала Пушкина в собственных глазах и озадачивала свет: должно же быть что-то в проказнике Пушкине, коли с ним дружен такой человек, как Чаадаев!

Когда было нужно, этот человек без лишних слов брался и помогал Пушкину. Через него Пушкин направил государю свою «Деревню». Чаадаев пекся о политическом воспитании вчерашнего лицеиста, учил его могучему отрицанию, мужеству, презрению к свету. С Чаадаевым Пушкин начал изучать английский язык.

Они много спорили: Пушкин терпеть не мог каких бы то ни было попов, а Чаадаев считал религию гарантией нравственности. Поскольку же православная церковь сделалась темна и безнравственна, Чаадаев проповедовал внедрение в России римского католического вероисповедания!

У него были огромные и порой безумные идеи, но он развивал, защищал их с неотразимой логикой. Споры с ним доставляли поэту колоссальное наслаждение.

В Петербурге переписывали послание Пушкина Чаадаеву. Заговорщики затверживали наизусть:

Товарищ, верь: взойдет она
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

В послании отразились впечатления поэта от «Сна» Улыбышева, с Аничковым дворцом, превращенным в Русский Пантеон, и с Триумфальной аркой, воздвигнутой на «развалинах фанатизма». Но тяжеловесная утопия Улыбышева не могла идти ни в какое сравнение с сжигательной силой пушкинских стихов.

Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья. . .

То был язык страстей, понятный молодым сердцам. Кто кроме Пушкина мог так изумительно перевести угрюмый оборот «на развалинах фанатизма» в праздничное, фанфарное выражение «на обломках самовластья»?

. . . Напишут наши имена!

В Русском Пантеоне грядущего они будут стоять рядом, отлитые в вечной бронзе! И как бы не бранили Пушкина дома, как бы не злословили о нем в салонах, он знал, что он — человек непростой. Об этом говорила не только мадам Кирхгоф, но и дружба с Чаадаевым.

Хрустальная душа — 3 экземпляра

Кто был славнейшим поэтом эпохи?

Державин, поэт варварской красоты и несравненного темперамента, умер в 1816 году. Карамзин давно оставил стихи, да и его «Бедная Лиза» давно вышла из моды. Дмитриев, автор «Сизого голубчика», был уже не поэт, а отставной министр юстиции, бесконечно переиздающий свои гармоничные и гладкие сочинения. Другой видный карамзинист Нелединский-Мелецкий, давно оставил свои прекрасные песни, ради служебной карьеры. Вся Россия распевала «Среди долины ровныя», но автор этой песни Мерзляков не был большим поэтом.

Независимый Гнедич, неутомимый труженик, переводил гомерову «Илиаду», он был для русской поэзии верным слугой, но не возлюбленным. Две звезды первой величины освещали небосклон литературы — Жуковский и Батюшков. Царством первого были тайна, печаль и мечта; второй пел забавы быстротечной молодости, вино и вакханок. Они были друзьями: Жуковского нельзя было не любить.

Его «хрустальная душа», его бесхарактерная и сияющая доброта сквозила и в его стихах. В балладе «Светлана», которую он освятил милой и несчастной Воейковой, он писал:

Вот баллады толк моей:
«Лучший друг нам в жизни сей
Вера в провиденье.
Благ Зиждителя закон:
Здесь несчастье — лживый сон,
Счастье — пробуждение».

И кончалась баллада знаменитым пожеланием:

«Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость как была,
Дней ее подруга».

Однако сам Жуковский далеко не всегда был весел. Жизнь представлялась ему юдолью слез, и только за могилой провидел он исполнение наших самых задушевных чаяний:

Там в нетленности небесной
Все земное обретешь.

Он сделался в русской литературе главным мастером ужасов, или «гробовых дел мастером», как однажды сострил Вяземский. С легкой руки Жуковского женихи-призраки западного романтизма стали своими людьми в России.

Никто не зрел, как с нею мчался он. . .
Лишь страшный след нашли на прахе;
Лишь внемя крик, всю ночь сквозь тяжкий сон
Младенцы вздрагивали в страхе.

В сладком трепете читатели упивались его мелодичными кошмарами. Духи и великаны, пэры Шэрлеманя и норвежские скальды — Жуковский открыл русскому воображению цветной мир европейской легенды. Самые ужасные истории в звучали его устах как пленительной красотой; гений перевода, он фильтровал чужеземную романтику и смешивал ее с собственной сладкой меланхолией.

Чуткие насмешники Петербурга, уловив однообразно-женственную сладость этой поэзии, прозвали Жуковского «напудренным Оссианом». Он ласков со всеми, и его улыбка

апатия весьма способствует его придворной жизни. Он чтец императрицы, потом профессор русского языка для великой княгини (немецкой принцессы). Юные фрейлины оттачивают на незащищенном сердце Жуковского свои коготки. Но он способен лишь на увлечения. Он давно уже «перегорел», лучшие струны его сердца навек онемели, когда у него отняли последнюю надежду на брак с Марией Протасовой. Писать мадригалы фрейлинам — почему бы и нет? Но это все.

Ничего более быть не могло.

Незаконное дитя Афанасия Бунина и плененной турчанки Сальхи, Жуковский никогда не мог рассчитывать на брак в той среде, которая так баловала его. Положение его оставалось неопределенным; несмотря на тысячи нитей, связывавших его с высшим светом, Жуковский жил в незримой изоляции.

Это предопределило исход маленькой великосветской драмы — любви поэта к графине Самойловой.

II

Дочь знаменитого генерал-прокурора ведавшего Тайной канцелярии, а по матери — племянница Потемкина, юная Софья Александровна Самойлова, фрейлина императрицы Марии Федоровны, блистала красотой и самой совершенной образованностью. В 1818 году ею увлекся Жуковский.

Тридцати пяти лет, высокого роста, с молочно-белым лицом и темными раскосыми глазами (наследие матери турчанки), Жуковский излучал неизъяснимое обаяние; чуть заметная улыбка вечного благоволения и привета играла на его красивых полных губах.

В июне 1819 года он воспеваает в стиле рококо «Платок графини Самойловой», который она уронила, катаясь на взморье. За «Платком» последовали другие стихотворения, посвященные ей.

— *Le grand conteur est epris de la comtesse Samoïloff*, — громко говорят дети при дворе.

Любила ли она его? Тонкая, любезная, много читающая, она была польщена поэтически явленными чувствами Великого Сказочника. Она могла бы сделать шаг ему навстречу в этой изысканно-опасной игре, но только шаг. О браке не могло быть и речи: «натуральный» сын какого-то тульского помещика не мог жениться на одной из Самойловых, которые проводили жизнь в роскоши и принимали в своих дворцах заморских королей.

А Жуковский стремился к браку, супружеской любви и семейному покою.

Мираж любви к Самойловой не обольщал его. Он видел перед собой каменную стену; из этой приятной, но тоскливой безысходности он невольно стремился вырваться. На счастье одновременно с ним графиней увлекся его лучший друг Василий Перовский.

Этот бравый офицер, раненый при Бородине, тоже был незаконнорожденным. Однако отцом братьев Перовских был не какой-то Бунин, а граф Алексей Разумовский. Все пять «воспитанников» графа, получивших фамильное имя от его подмосковной «Перово», стали дворянами и сделали великолепную карьеру. Василий Перовский в 1818 году был назначен

адъютантом великого князя Николая Павловича. Этот европейски образованный и гордый юноша пользовался величайшим успехом у женщин. Он дружил с Жуковским, Карамзиным, Вяземским, был на «ты» с Пушкиным. И вот он признался своему лучшему другу в своем увлечении графиней Самойловой. Для автора «Светланы» это был единственный выход из безнадежной ситуации. Теперь он мог отступить красиво.

Товарищ! Вот тебе рука!
Ты другу во время сказался;
К любви была душа близка:
Уже в ней пламень разгорался,
Животворитель бытия,
И жизнь отцветшая моя
Надеждой снова зацветала!..

И Жуковский делает великодушный жест:

Товарищ! Мной ты не забыт!
Любовь друзей не раздружит.
Сим несозревшим упованьем,
Едва оправданным душой,
Подорожу ли перед тобой?
Сравню ль его с твоим страданьем?

Он благословляет Жуковского на любовь к очаровательной фрейлине:

Люби! Любовь и жизнь — одно!
Отдайся ей, забудь сомненье,
И жребий жизни соверши;
Она поймет твоё мученье,
Она поймет язык души!

Это было написано в конце июля 1819 года. Жуковский играет в самоотверженную дружбу, платоническое участие в чужом счастье. В альбом графини Самойловой он вписывает новые стихи, постепенно приучая ее к своей новой роли: так, 17 сентября того же года он вписывает стихотворение «Напрасно я мечтою льстился». В нем есть многозначительные строки:

... И ряд веселых фонарей
Дорогу вашу всю осветит!
Пусть друга-ангела рука
Их зажигает перед вами!
А я, хотя издалека,

За вами следуя глазами,
Вас буду сердцем провожать,
И благородно их считать.

— *C'est touchant!* — говорят в салоне графини Бобринской. — *mais pourquoi cet «издалека»?*

7 октября Жуковский вписывает в альбом Самойловой возвышенные рассуждения о религии по поводу преподнесенной им Софье Александровне библии на немецком языке (подарок в стиле эпохи).

Наконец, между ними произошло объяснение.

— Я сожалею, что моему исканию дружбы вашей вы не смогли ответить. . .

Голос его звучал тихо и бесцветно. Самойлова молчала.

— Моё изъявление дружбы к вам, графиня, вы приписали, как видно, другому чувству, которое впрочем, внушить вы более всего можете.

Самойлова посмотрела на Жуковского, и в глазах её показались слёзы.

Охваченный паникой, он склонился в низком поклоне.

Нелединский-Мелецкий в письме к дочери позже объяснял всю эту историю тем, что Жуковский боится слыть влюбленным: «*Il craint extremement d'être ridicule*».

Самоотверженность Жуковского не принесла удачи его другу. Но бравый Перовский спокойно перенес холодность графини Софьи Самойловой: «При сем посылаю вам перчатку и уголок платка знакомой вам девы. Душевно желаю, Василий Андреевич, чтобы вы смотрели на эти принадлежности, как и я на них смотрел: как на простую тряпку и на простую лайку, и чтобы весна, а особенно горячее лето нашли бы вас совершенно охлажденным. . . В случае чего, однако же, еще не предвижу когда почувствуете себя довольно образумившимся, чтобы решительно открыть глаза и уши и очистить голову и сердце, прошу вас убедительнейше, Василий Андреевич, дайте мне знать через кого-нибудь о сей счастливой перемене дабы мы вместе и торжественно предали бы земле, воде или огню все эти перчатки, платки, ленточки и фруктовые косточки. . . Ах, царь небесный! Что за праздник это будет!..»

Осенью 1820 года Софья Самойлова становится невестой графа Алексея Бобринского из побочной ветви династии Романовых. Позже эта замечательная женщина осталась в дружеских отношениях с поэтом. У Софьи Бобринской достало ума сохранить дружбу с Жуковским.

III

Дружба Жуковского и Пушкина особенно утвердилась с их осенней встречи в 1818 году, после возвращения первого из Москвы. Автор «Громобоя» и «Светланы» жил тогда в доме Плещеева, в Коломне, на самой окраине Петербурга. Несмотря на такую даль, каждую субботу к Жуковскому съезжались его друзья и литературные союзники, осколки озорного литературного общества «Арзамас» недавно умершего естественной смертью. На этих

субботних вечерах Пушкин постепенно знакомил кружок Жуковского с поэмой «Руслан и Людмила». Поэма продвигалась медленно, так как Пушкин был всегда готов бросить ее ради пунша, карт или хорошенького личика. Однако во время своих довольных частых болезней Пушкин брался за перо всерьез и наверстывал упущенное.

— Василий Андреевич, он хочет предстать в поэме твоим соперником, — сказал однажды Александр Тургенев.

— Ты прав, я с первой же песни уловил дух соперничества и учтивой насмешки. Что нужды? Я первый его поздравлю. Когда он не опьянен вином или гневом, то каждый стих его — благо.

— Ты и вправду ангел, Василий Андреевич.

Тот безмолвно опустил голову: самый обычный его жест.

Поэма Пушкина соединяла изящество французской эротики минувшего века с простонародностью русских преданий. Ариосто с Бовой-Королевичем. Пушкин шел тропой Жуковского, но много далее: в глубине поэмы таилась пародия на учителя.

Но Жуковский был по природе своей настоящим учителем, поэтому радовался дерзкой независимости ученика, который его вышучивал.

Лето 1819 Пушкин провел в родительском селе Михайловском. Он вернулся в середине августа с пятой песней «Руслана и Людмилы» и принялся разъезжать между городом и двором, находившимся в Царском селе. После сидения в деревне его обуял бес передвижения.

В одну августовскую ночь Александр Тургенев повез Пушкина в Павловское. Они разбудили Жуковского, который становился ленив и рано ложился спать. Тот всегда был рад Пушкину.

В эту ночь «бесенок» превзошел себя самого. Он показал степенным друзьям свою любимую игру — изображал обезьяну, прыгал по столам и строил злобные гримасы. Тургенев, Жуковский и проснувшийся от шума Яков, слуга хозяина, чуть животы не надорвали. Все устали, спать легли уже в предрассветных сумерках и заснули сном праведных.

А через два дня у Николая Тургенева Пушкин читал другую новинку, привезенную из псковской глуши: оду «Деревня» — патетическое обличение крепостного права.

Идея оды родилась в общении с младшим Тургеньевым. Тот в это время готовил для представления государю записку об отмене крепостного права и пропагандировал эту необходимую в России реформу среди своих сочленов по Союзу Благоденствия.

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство падшее, по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Она сделалась широко известной и вызвала сильный шум.

Одновременно появилась эпиграмма Пушкина на Аракчеева.

В июле, когда Пушкин отдыхал в Михайловском, на юге произошло восстание военных поселян, так называемый чугуевский бунт. Граф Аракчеев помчался в Чугуев и лично

руководил усмирением; по его приказу и в его присутствии 52 зачинщика были прогнаны сквозь строй и получили по 12 тысяч шпиртуенов. В первые же дни после экзекуции из числа наказанных умерло 25 человек. По Петербургу повторяли пушкинское двустишие:

В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон:
Кинжала Зандова везде достоин он.

В своей квартире на Фонтанке (в доме вице-адмирала Клокачева) Пушкин устроил с выигрыша дружескую пирушку, на которой прочел две своих главных эпиграмм 1819 года — «На стурдзу» и «На Аркачеева»:

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель. . .

Жуковский опасливо качал головой, он тревожился за Пушкина.

А тот уже вновь забывался за картами у Всеволожского, в объятьях актрис или в зверинце. Где соблазнял приемщицу билетов, попутно изучая мимику тигров и обезьян.

Между тем, неповоротливая александровская полиция хоть со скрипом, но делала свое дело. Государь услышал о каких-то рукописных сочинениях Пушкина, волновавших молодежь.

Он поручил командиру гвардейского корпуса князю Васильчикову достать эти стихи. Адъютантом же Васильчикова был Чаадаев. Через него Пушкин послал государю оду «Деревня».

В те годы многие, в том числе близкие к престолу, представляли государю записки об отмене рабства и конституционные проекты. Александр I любезно поощрял их и откладывал в вечный ящик своего бюро. Прочтя «Деревню» он велел «благодарить Пушкина за добрые чувства», которые внушает его ода.

В тесном кругу поэт дьявольски потешался над царем.

— Надо было послать ему «Ноэль», — иронизировал Чаадаев.

— Дойдет очередь и до «Ноэля!» — откликнулся Пушкин. — Рано или поздно он должен услышать всю правду о себе.

— Какой же ты обманщик, братец! — с притворной важностью заметил Каверин. — Ведь ты надул его величество.

— Не вижу в том греха: он сам первый обманщик.

— Лицедей, — с тихим отвращением добавил Чаадаев.

Жуковский, напротив, искренне верил, что государь ведет дело к освобождению. Пушкин вращаясь в самых разных кругах, чувствовал себя вполне непринужденно и у командира Преображенского полка Катенина. Это был самый талантливый последователь адмирала Шишкова, сделанного посмешищем в «Арзамасе», питомцем коего был Пушкин.

Все еще помнили спор «Ольги» и «Людмилы» — войну двух баллад. Резкое и подчеркнутое русское переложение «Леноры» Бюргера, сделанное Катениным в противовес утонченному переложению Жуковского, нравилось Пушкину, и он с упоением повторял два стиха из катенинской «Ольги»:

Адской сволочи скаканье,
Смех и пляска в вышине. . .

Когда Катенин парадировал томную страсть Жуковского, Пушкин охотно состязался с ним в насмешках. Но однажды Катенин, разгоряченный вином, заговорил о некоей странной истории, разыгравшейся в свете.

— Благородные люди стреляются из-за танцовщиц: вспомним беднягу Шереметьева. Неужто Авдотья Истомина, которою можно обладать за деньги, стоит большего, нежели Софи Самойлова?

— Что вы хотите сказать, Павел Александрович, — спросил Пушкин, мгновенно трезвея.

— Говорят, наш Фиалкин принес любовь в жертву дружбе. Какое прекрасное хитроуловство!

Пушкин помолчал, собираясь с мыслями. Иногда он умел быть весьма осторожным в выражениях.

— Дорогой Павел Александрович, — сказал он, — вы прекрасно знаете судьбу Фиалкина. Можно потешаться насчет обветшалой чувствительности в его стихах, но кто вправе судить его сердце? Нам ли повторять канканы света и двора? Заклинаю вас Вакхом и Венерою: оставим в покое Жуковского и будемте по мере сил щадить нежную увечность души его!

И Катенин, сам Катенин, замолчал и стал пить снова, потому что ему сделалось стыдно.

Чувствительность как политика

I

Летом 1819 года в Красном селе государь, осмотрев 2-ую гвардейскую бригаду, состоящую под командой великого князя Николая Павловича, отобедал у брата и затем вступил с ним в беседу в присутствии одной лишь великой княгини.

— Вы должны знать заранее, что призваны вступить на престол.

И государь объявил Николаю, что смотрит на него как на своего наследника.

— Это должно случиться гораздо скорее, чем можно было бы ожидать, ибо ты вступишь моё место еще при моей жизни.

— Но брат Константин Павлович. . .

— Цесаревич Константин Павлович намерен отказаться от своих прав на престол.

Николай и его супруга переглянулись.

— Что касается меня, — продолжил государь, — то я решил избавиться от своих функций (*me defaire de mes fonctions*) и удалиться от света. Европа более чем когда-либо нуждается в государях молодых и твердых — во всей энергии их силы; что до меня, то я уж не тот, каким был, и почитаю долгом своим удалиться во-время.

В конце лета государь выехал в Варшаву. В дороге его догнала весть о беспорядках в чугуевских поселениях. Граф Аракчеев сообщал в письме от 24 августа (как всегда, ори-

гинально расставляя знаки препинания): «Происшествия здесь бывшие меня очень расстроили; я не скрываю от Вас, что несколько преступников самых злых, после наказания законами определенного умерли, и я от всего одного начиная очень уставать, в чем я откровенно признаюсь перед Вами...»

Откровенность графа копила два месяца: бунт в Чугуеве начался еще в конце июня. Примчавшись в Чугуев, граф прогнал 52 бунтовщиков через строй в тысячу человек по двенадцать раз. Эти люди превратились в безголосые красные куски мяса, которые в госпитале стали быстро гнить один за другим. В первые же дни после экзекуции померли 25 человек. Молва шла по России. Граф Аракчеев знал, что государя занимает мнение Запада, разговоры в салоне мадам де Сталь и афоризмы Шатобриана, а посему граф заранее говорил, что расстроен и «начинает уставать». Он знал также, что государь более всего на свете боится черной работы и отставки графа Аракчеева.

Впрочем, ведь не граф выдумал военные поселения, это была идея самого государя — и одна из самых любимых. Государь испытывал жалость к солдатам, которым приходилось служить 25 лет, в разлуке с женами и невестами; ах, он знал, сколь тяжела разлука для любящих! Так пусть же они несут службу, оставаясь в своих домах и вознаграждая себя за её тяготы нежными ласками своих супругов и очаровательными играми детей! В основе плана военных поселений лежала чувствительность государя, соединенная с некоторыми видами практической пользы.

Чугуев государь помнил: сорок верст от Харькова, премиленький городок, весь чистый и строго разлинованный. Точная геометрическая планировка, как на Васильевском Острове. Центр Слободских военных поселений. С чего им вздумалось бунтовать, избивать начальство? Чугуевский бунт начался с того, что поселенным приказали заготовить для полковых магазинов 103.000 пудов сена.

«Много это или не очень?» — грустно подумал государь.

8 сентября 1819 года он ответил на письмо графа Аракчеева: «Издавна тебе известна, любезный Алексей Андреевич, искренняя моя к тебе привязанность и дружба и посему ты не поверишь тем чувствам, кои ощущал я при чтении всех твоих бумаг. С одной стороны мог я в надлежащей силе оценить все, что твоя чувствительная душа должна была претерпеть в тех обстоятельствах. Благодарю тебя искренне и от чистого сердца за все твои труды».

И в Варшаве государя ждали нерадостные вести. Новосильцев совершенно разошелся с князем Адамом Чарторижским — а ведь оба они были друзьями его молодости! Князь Адам был более, чем друг: с молчаливого согласия государя князь и государыня Елисавета Алексеевна любили друг друга когда-то... Именно Чарторижский явился одним из создателей «конгрессов» Польши. Ах, если бы они с Новосильцевым умели действовать солидарно и вместе! К тому же, возрастало неудовольствие, против цесаревича Константина Павловича... Он слишком похож на батюшку!

При частичном обновлении палаты депутатов на сеймиках резко порицали правительство Царства, кой-где выбирали неприятных и беспокойных людей. В газете «Белый Орел» публиковалась слишком пылкая полемика. Нет, положительно, он был в праве ожидать от поляков большей благодарности!

Цесаревич провожал государя, когда тот покидал Варшаву. В карете между ними произошел следующий диалог:

— Я должен сказать тебе, любезный брат, что я хочу абдикировать. Я устал и не в силах сносить тягость правительства; предупреждаю тебя, дабы ты подумал, что тебе надобно будет делать в сем случае.

— Тогда я буду просить места второго камердинера вашего: я буду служить вам и, ежели нужно, чистить вам сапоги. Когда бы я теперь это сделал, то почел бы подлостью, но когда вы будете не на престоле, я докажу преданность мою к вам как благодетелю моему.

Император обнял брата и поцеловал его так крепко, как никогда не целовал. Все-таки у брата под грубою корой таилось золотое сердце. Он любил его, Александра.

И эта его полячка — гм, она действительно хороша собой, прекрасно воспитана, из старинной фамилии.

Можно было окончательно согласиться на развод, который просил царевич.

И на его морганатический брак.

Этот брак приблизит его к Польше, уладит его недоразумения с поляками. В заодно и даст основание для перемены в порядке престолонаследия. Муж польской графини не может быть русским царем, равно как и возможное потомство их не в праве будет претендовать на шапку Мономаха.

Счастливцев Константин! Он отдаст корону за любовь!

И государь приложил платок к увлажнившимся глазам.

II

Александр I еще не знал, что Валериан Лукасиньский уже создал патриотическую конспирацию «Национальное масонство», что в Виленском университете уже два года действует общество дипломатов; польская молодежь без лишнего шума и драматических эффектов медленно готовилась к новой борьбе. Александр I по-прежнему считал себя кумиром польской нации. В интересах магнатов, привязанностью которых он очень дорожил, и ради расширения территорий, объятых действием конституции 1815 года, которою государь очень гордился, им было принято решение «восстановить Польшу в ее давних пределах» — присоединить к конгрессовому королевству западные губернии.

По возвращению в Санкт-Петербург государь высказывал свои мысли о «восстановлении Польши» некоторым лицам из своего ближайшего окружения. В их числе был историограф двора — Николай Михайлович Карамзин.

Карамзин был избран год назад членом Российской академии. По желанию императрицы Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны он проводил лето в «китайской деревне» Царского Села, а зимы — в Петербурге. Государь часто приглашал его к себе и читал «Историю

Государства Российского» в рукописи; они вели откровенные политические беседы, хотя Карамзин не раз осмеливался противоречить государю и даже критиковать его действия. Он не одобрял ни мистицизма Голицына, ни деятельности Аракчеева; он был одним из активных деятелей низложения Сперанского, порицал военные поселения, требовал создания твердых законов в России. Сторонник просвещенного абсолютизма, он занимал золотую середину между «либералистами» (Сперанский) и «сервилистами» (Аракчеев). Авторитет Карамзина казался чрезвычайно высок в эти годы.

— Карамзин есть воплощение политической совести русской монархии, — заявил однажды граф Каподистрия, с которым особенно сдружился историк. — он сочетает в себе ум твердый и сердце чувствительное; никогда он не стал бы приносить правосудие в жертву порядку.

В ответ на мысли, высказанные государем касательно восстановления Польши, Карамзин подал его величеству свою известную записку от 17 октября 1819 года — «Мнение русского гражданина». В этой записке он развивал мысли, противоположенные государевым, и делал заключение, что восстановление древнего Королевства Польского было бы противно священным обязанностям Самодержца России и самой справедливости; оно привело бы к падению России — «или сыновья наши обагрят своею кровью землю польскую и снова возьмут штурмом Прагу».

Записка Карамзина вызвала сильное раздражение государя. Он чересчур упрям! И как он не может понять высоких побуждений польского проекта? Il est royaliste que le roi meme. Он думает сделать ложную патриотическую чувствительность основой политики, что за бредни.

Но государь знал, что голос Карамзина — это голос дворянства. И польский проект был отложен ввиду «общего не сочувствия» в России. Между государем и его историографом возникла некоторая натянутость. Это не угрожало положению Карамзина: на его стороне были обе императрицы. Вдовствующая императрица Мария Федоровна оказывала сильное влияние на своего старшего сына, который лишь в немногих случаях имел достаточно характера, чтобы с твердостью противостоять этому влиянию.

И Карамзин держался независимо. Аристократия его уважала, но не любила. В свете недолюбливали и его жену Екатерину Андреевну (старшую сестру Петра Вяземского). Она все еще была красива, эта первая любовь Пушкина. Гордая осанка Екатерины Андреевны вызывала насмешки в свете; при входе Карамзина в залу на приеме у Оленина кто-то сказал:

— Oui, c'est la Madame Karamzine, on le voit a sa morgue.

Многие завидовали карьере Карамзина и его безнаказанной смелости с государем. Говорили о «карамзинолатрии», о нетерпимости его фанатичных сторонников.

— Сам он человек простодушный и даже полезный, — уступали старые вельможи, — но сеиды его несносны.

В то же время было ясно, что партия Карамзина в литературе давно победила партию адмирала Шишкова. Карамзинизм стал господствующим стилем, внутри которого зарождались новые направления. И хотя он все еще писал свою «Историю Государства Российского», которую ему не суждено было завершить, Карамзин давно уже выполнил главнейшее свое предназначение — он заготовил формы для новой русской словесности. Дело было сделано; за ним шли другие.

Сознавал ли он, что его великое дело давно исполнено? Нет, конечно! Он хлопотал за неудачников и опальных, спорил с государем, рылся в архивах, наживая чахотку; трудился над «Историей» и верил, что ему предстоит влиять на политику России. Человек занятой и трудолюбивый, он не помышлял о конце.

Но порою он испытывал странную, беспричинную грусть.

Карамзин чувствовал охлаждение молодежи. В конце 1813 года, едва вышли из печати первые восемь томов главнейшего его труда, у него состоялся очень тяжелый разговор с Пушкиным.

Юный проказник в тот день был трезв и сдержан, как никогда. Он явился к Карамзину безукоризненно одетый, внешне спокойный, но в его молчании таилось нечто грозное. В продолжении общего разговора он только снимал и вновь надевал на мизинец золотой наперсток, под который отрастил необычайно длинный ноготь. Когда к нему обращались, отвечал кратко и рассеяно. Карамзин чувствовал, что с ним что-то происходит.

Когда они остались одни, Пушкин встал и подошел к Карамзину. Глядя ему в лицо, он процитировал фразу из авторского предисловия к «Истории Государства Российского»:
— «История есть священная книга царей и народов».

Карамзин ответил с улыбкой:

— Да, я уже где-то слышал эти слова.

Но Пушкин не принял эту шутку — он поднял свою небольшую красную руку и спросил:

— Николай Михайлович, почему вы не написали «народов и царей»?

Карамзин, несколько ошеломленный, отвечал сбивчиво.

Затем, увлекаясь собственной речью, он нашел изящные обороты и убедительные аргументы. Пушкин учтиво слушал его, но его реплики доказывали, что он все еще не признает себя побежденным. Впервые Карамзин обнаружил столь явное несогласие в своей собственной литературной партии.

— Разве не доказал я делом своей приверженности народу и правосудию?

— Но либеральные институты, в коих столь нуждается Россия. . .

— Россия нуждается только в самодержавии и твердых законах. Самодержавие есть палладиум России!

Лицо Пушкина загорелось, видно было, что он с трудом сдерживает себя. Скрестив руки на груди и прислонясь к краю стола, он сказал:

— Итак, вы рабство предпочитаете свободе.

Карамзин побледнел от негодования:

— Вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузов не говорили!
Они расстались холодно, Буквально на следующий день в салонах Петербурга появилась эпиграмма на Карамзина:

В его Истории изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Во многих списках под эпиграммой стояло имя Пушкина. Когда эпиграмма дошла до Карамзина, он с болью в сердце признал, что это очень похоже на правду. Встречи с Пушкиным стали редкими, их прежние теплые отношения исчезали.

— Что подделывает ваш Сверчок? — спросил Карамзин у Жуковского.

— Кутит напропалую, — отвечал Жуковский. — сошелся с ядовитым гордецом Катениным и учится у него площадной русской брани и французскому либерализму.

— Кажется мне, и то и другое хорошо ему ведомо без Катенина.

Карамзину оставалась дружба Румянцева и Каподистрии, беседы с императрицами, его великий труд, да чтение любимого автора — Вальтер Скотта. Никому не признавался историк, как ему не хватает Пушкина. Он воспринял этого проказника как живое воплощение молодости.

Молодость отворачивалась от великого человека, давшего свое имя целой литературной эпохе.

До России уже докатилась слава молодого английского поэта лорда Байрона. Еще в 1817 году Уваров, ранее других в России узнавший поэзию Байрона, одной из статей петербургского журнала «Conservateur impartial» (№ 77) заявил, что в поэзии Жуковского имеются черты, родственные таланту Байрона. Быть может, это возбудило интерес Жуковского. Все лето 1819 года он и его друзья зачитывались Байроном. Жуковский, бредил Байроном и называл его «гением-воскресителем»: он собирался перевести его «Гяура» и выкрасть лучшее, по его выражению, из «Манфреда». В этом кружке находили «Манфреда» произведением «уродливым», но все же восхищались им. Жуковский умел читать по-английски. Недавний арзамасец Дмитрий Блудов присылал из Лондона Жуковскому такие новинки, как поэма Байрона «Мазепа» или его зажигательная «Ода к Венеции».

Слава Байрона звенела погребальным звоном по карамзинизму.

— Лорд Байрон со своим бешенством страстей и полной нравственной распущенностью, — говорил Карамзин, — конечно же, не может почитаться чувствительным человеком. Он глашатай революции, за ним идут призраки Робеспьера и Фуки-Тензиля!

Но на это ему возражали (обычно шепотом), что покамест над Россией царит живой палач, а не призрак: Чугуевская история была у всех на устах. И Карамзин, в глубине души ненавидевший Аркачеева, с тайным удовольствием слушал пушкинские эпиграммы на всеильного любимца государя.

Он горько ощущал перемену психологического климата в Петербурге и с упорством обреченного отстаивал свое знамя.

Оно еще осеяло обширный круг союзников, но притока молодой и свежей силы здесь более не было.

Пушкин ушел от Карамзина к либералистам и политике, к молодым обновителям старины — в литературе. Он сочинял уже третий или четвертый год какую-то поэмку, начатую еще в Лицее. Она называлась «Руслан и Людмила», отрывки из нее, известные Карамзину, написаны были бойко, размашисто, но — неглубоко! Зловредное влияние Катенина сказывалось в этой безделке: Карамзин видел, что Пушкин не бережет языка и выражается в поэме с простонародной грубостью.

— Мальчишка на ложном пути, — говорил историк Екатерине Андреевне. — Жаль, очень жаль.

— Он загубит свой дар, — отвечала жена.

В доме Карамзиных раз и навсегда сложилось дружественно-презрительное отношение к Сверчку. Молча было решено не принимать его всерьез. И этому решению Карамзины оставались верны до конца.

Девочка из Стамбульской кофейни

I

В 1819 году две новых звезды блеснули на петербургском небосклоне — сестры Софья и Ольга Потоцкие. Свет дивился не только их красоте, но и удивительной свежести их матери, чья скандальная слава давно обескураживала моралистов.

В 1776 году маленькая гречанка из одной стамбульской кофейни по имени Софья Главани, дочь сводни, была куплена польским интернунцием Босканом-Лясопольским: он хотел сделать это прелестное дитя одной из «банных девушек» короля Станислава-Августа. Но у этой девочки из кофейни оказались свои планы. В Польше она вышла замуж за майора Жозефа де Витта и в Варшаву явилась как pani Wittowa. Тогда Варшава была столицей хамского рококо: ничтожный король, которому царица Екатерина дала корону за любовь, окружил себя гаремом из знатнейших дам королевства, а после обеда усаживался на террасе своего дворца и смотрел в сильный лорнет на купавшихся в Висле горожанок. Немудрено, что пани Виттова имела огромный успех. Ревнивые дамы двора утверждали, что Боскан купил эту греческую сучку за 10 пиастров на известном стамбульском Аврет-базаре. Мужчины это игнорировали, предпочитая более осязательные факты.

В 1781 году двадцатилетняя Софья де Витт отправилась в турне по Европе. Любовником её стал брат французского короля; Париж и Вена объявили её «самой красивой дамой Европы». Муж её делал сногшибательную карьеру. Затем супруги появились при дворе Потемкина, который осыпал царскими дарами Софью и сослал в Сибирь майора Щеглов-

ского, имевшего неосторожность понравиться фаворитке русского султана. Иосиф де Витт, покладистый муж, получил от Потемкина генеральский чин и графское достоинство.

Когда светлейший умер, графиня де Витт влюбила в себя польского магната Станислава-Щенского Потоцкого (Szczesny, «счастливый» — польский перевод Латинского имени Felix). За очень большие деньги де Витт согласился на развод, и Софья стала графиней Потоцкой.

Второй муж её был из числа тех магнатов, которые продали независимость Польши. Во время восстания 1794 года он был заочно приговорен к смертной казни. Он жил спокойно в Петербурге и Вене, а в своих украинских поместьях строил для любимой жены земной рай — знаменитую Софиевку. Суворов взял Прагу, Польша перестала существовать, но магнат не вернулся на родину. Генерал-аншеф русской службы, он жил в Петербурге или уманских поместьях, воспитывал двух прекрасных малюток — Софью и Ольгу. Умер в 1806 году, оставив прекрасной вдове огромные земли и 37 тысяч душ крепостных.

Дети покойного от первого брака оспаривают её права на наследство. Процесс растягивается на много лет. При создании конгрессовой Польши графиня является на берега Вислы во всем блеске своей зрелой красоты. Её очередным завоеванием становится сам Новосильцев. Но тяжба переходит в Санкт-Петербург, в сенат; графиня снова едет в столицу России, раздаёт взятки направо и налево. Однако процесс из-за наследства Щенского Потоцкого — дело слишком серьезное. Одними взятками тут не обойдешься, нужен большой человек, а графиня уже немолода.

И она выпускает свою 17-летнюю дочь Ольгу на графа Милорадовича, генерал-губернатора Петербурга.

Этот серб, герой 1812 года, знаменитый храбрец и любитель женской красоты, пользуется большим расположением государя, с которым часто видится по своей генерал-губернаторской должности.

Графиня Потоцкая часами оставляет свою Ольгу, замечательную красавицу, наедине с графом Милорадовичем. Он опьянен польской нимфой, его приемный кабинет весь украшен портретами и статуэтками Ольги Потоцкой.

II

Старшую из сестер, Софью Станиславовну, князь Вяземский полюбил еще в Варшаве. Он написал мадригал с длинным заглавием: «К двум красавицам — матери и дочери».

О вы, которые гордитесь красотой,
При них, от зависти краснея, скройтесь прочь
Мать несравненная! А дочь
Сравнялась с матерью одною.

Летом 1819 года Вяземский привез в Петербург русскую конституцию, секретно выработанную в варшавской канцелярии Новосильцева. «Государственная уставная грамота

Российской империи» представляла собой несколько ухудшенный вариант польской конституции 1815 года. Государь принял Вяземского Каменно-островском дворце и беседовал с ним более получаса.

«Уставная грамота» была погребена в тайных недрах его кабинета. Поездка Вяземского в Петербург возымела одно лишь последствие: князь ввел Пушкина в дом графини Потоцкой.

Этой величественной красавице было, мягко говоря, сильно за пятьдесят, но черные глаза ее еще сохраняли былое пламя. Раскинувшись на маленьком диване среди горшков мяты и бальзамина, она безумно тешилась рискованными остротами и эпитаграммами молодого поэта.

— Mon cher Pouchkine, vous me faites rajeunir jusqu'a l'indécence!

В смешанном обществе её салона затянутый и молодящийся граф Милорадович, si devant home, держался, как султан; встретив здесь Пушкина, он принял с ним «молодой» тон. Особое внимание поэта обратилось на Софью Станиславовну: его чувство было предуготовлено рассказами Вяземского об уме и образовании старшей сестры. Князь называл её Минервой.

Её суждения о мадригалах Пушкина обличали тонкий вкус. Стройная, с ослепительной кожей и загадочными глазами, она показалась Пушкину необычайно поэтичной.

На одном из вечеров в доме Потоцких, осенью 1819 года, Пушкин в кругу поклонников, собравшихся вокруг мадмуазель Софи, юмористически описывая историю в театре, которая должна была закончиться дуэлью, однако майор, который провоцировал Пушкина, перетрусил и извинился. Генерал Киселев, приятель и соперник, пытался перещеголять Пушкина каким-то длинным анекдотом, но потерпел полнейшую неудачу. Графиня-мать перебила его, обратившись с вопросом к Пушкину:

— Нет ли у вас родни в Константинополе?

— Нет, графиня, у меня нет родни далее Москвы, — отвечал поэт.

— Когда мне было десять лет, — сказала прекрасная гречанка, — я впервые изведала нежное чувство. Предметом оно было один моряк: он был похож на вас, как две капли воды.

Мадмуазель Софи кусала губы. Обеих сестер Потоцких всегда нервировали воспоминания их матушки о туманном константинопольском детстве. Общество на миг замолкло в панике. Спасая положение, Пушкин с полной непринужденностью продолжал:

— Впрочем, кое-какая родня у меня есть в Африке! Ведь мой прадед, африканский принц, был аманатом в Константинополе, и там Емельян Украинцев выпросил его у султана.

Петр Великий явился крестным отцом сего африканца: он дал ему фамильное имя Ганнибала. Моя матушка — рожденная Ганнибалом, зато Пушкины — это старый русский род.

Софья Станиславовна охотно поддержала эту тему, и общество ожило.

— У Карамзина вы найдете множество упоминаний о Пушкиных. Один из наших предков был любимым воеводою святого Александра Невского. Я, конечно, знаю, что род Потоцких не менее древен и еще более знаменит в истории Речи Посполитой. Не так ли, Софья Станиславовна?

— Да, среди нас было столько коронных гетманов и министров, что не перечсть. Портреты старцев в бобровых шапках с перьями и дам, которые держат охотничьих соколов, словно нюхают розу, с детства нагнали на меня скуку. Что с того, что Потоцкие были опорой исчезнувшего трона Ягеллонов? Меня это не волнует. Зато нет ничего прекраснее, чем история Марии Потоцкой.

— Истории Марии Потоцкой? — переспросил Пушкин. — Семейное предание?

— Разве князь Вяземский не рассказывал вам её?

— Нет, не успел. Расскажите ради бога — я обожаю семейные истории.

— Собственно, это не только семейное предание: в Бахчисарае эту историю знает каждый татарин. В один из последних набегов на Польшу татары взяли в плен Марию Потоцкую; крымский хан Керим-Гирей увидел её проливающей горькие слезы, она была подобно лилии в росе, ей было пятнадцать лет, и хан полюбил её великой любовью.

Пушкин не отрывал взора от Софьи. Он тайком от окружающих завладел её рукой.

— Сердце беспощадного Гирея замирало от тоски перед мраморной печалью её чела. Никакие улады мусульманской роскоши не радовали пленницу. Взор её постоянно обращался к северу, словно магнитная стрелка. Хан ничем не мог ни утешить Марию, ни добиться её любви. Потоцкие предлагали за неё миллион выкупа, но он ответил, что не отдаст Марию даже за город Краков. Она была дороже всех сокровищ на свете! И Мария, окруженная раболепием и восточною негой, мало-помалу зачахла и угасла вдали от родины и своей семьи, и служитель истинного бога не принял её последнего покаяния и не проводил её святою молитвою.

На глазах её показались слезы, которым ответили вздохи слушателей.

— Хан был безутешен. Болтают, будто Марию зарезала из ревности одна из прежних звезд сераля и будто злосчастную преступницу живою зашили в мешок и бросили в море. Глупости! Мария умерла от тоски по милой Польше. Керим-Гирей воздвиг на нею дивный мавзолей, где кристальная струя из горного источника служит вечною эмблемой неиссякаемых слез хана. Этот дивный памятник сохранился по сей день. . . там голубое небо, и горячее солнце, упоющего воздух Бахчисарая. . . и вечно плачет фонтан. . . La fontaine des pleurs!

Голос её, вибрируя, стихал, как струя арфы; она откинула голову, словно созерцая прищуренными глазами далекую картину надгробия Марии Потоцкой среди цветущих крымских садов.

— Фонтан слез, — зачарованно повторил Пушкин. — Вы говорили, как Сафо!

— Вы льстец, господин Пушкин. Наконец, не соблаговолите ли вы возвратить свободу моей руке? Пальце её совсем склеились от ваших пожатий.

Все расхохотались. Пушкин покраснел чуть не до слез и порывисто вскочил. Острый ответ уже вертелся на кончике его языка, как вдруг он уловил глубокий и красноречивый взгляд красавицы.

— Умоляю простить меня, — тихо сказал он. — Прелесть этого рассказа виною моего забвения.

III

Спустя три дня Пушкин задался целью пересидеть всех поклонников Софи. Он рассказывал о лорде Байроне, который ввел на дружеских пирушках моду пить вино из черепов и всюду таскал с собою любовницу, переодетую пажом.

— Ваша история пикантна, — сказала Ольга Потоцкая, — но я знала в Варшаве шестидесятилетнего вельможу, влюбленного в одну из самых юных фей Польши. Она уверила его, что у него весьма красивые ноги, и заставляла переодеваться на маскарадах пажом.

Все взоры обратились к дивану, на котором графиня Потоцкая вела с графом Милорадовичем серьезную беседу.

— Кстати, как подвигается процесс вашей матушки? — спросил Пушкин.

— Все лучше и лучше, — хладнокровно ответила Ольга.

Окружающие прятали улыбки, но невольно посматривали на графа Милорадовича и его чисто кавалерийские ноги.

Постепенно общество редело: поклонники отбывали, видя, что мадмуазель Софи целиком погрузилась в беседу с Пушкиным. Они спорили об истинном счастье. Проводив графа Милорадовича, скрылась Ольга.

— Je vous laisse, mes enfants, — сказала графиня-мать.

И Пушкин остался наедине с таинственной Софи Потоцкой.

Её представления о счастье, сотканые из идиллий конца минувшего века, грез Оссиана и католической экзальтации, казались Пушкину странными. В её блаженной меланхолии он угадывал тайное самолюбование.

— Одинокая пастушка, которая на вечерней заре смотрится в зеркало вод, напоминает Нарцисса. В сущности, это весьма печальное зрелище. Разве не более тешат нас вакхические звуки тимпанов и буйная нагота ликующих сонмов под солнцем Эллады, когда вино и сладострастие одни царили над празднеством, отменял на время стеснительные законы приличий? Счастье для эллинов заключалось в самой вольности дионисий!

И Пушкин, обладавший феноменальной памятью, сидя рядом с мадмуазель Софи, прочел ей знойную «Вакханку» Батюшкова — стихотворение, всё пронизанное ритмом радостного бега. Софья слушала, опустив ресницы.

Я за ней. . . она бежала

Легче серны молодой:

Я настиг — она упала!

И тимпан под головой!

Жрицы Вакховы промчались
С громким мимо нас;
И по роще раздавались
Эвоэ! — и неги глас

Он умолк, с улыбкой глядя в глаза девушки.
— «Эвоэ! — и неги глас», — повторила Софи, слегка задыхаясь. — Боже, как прекрасно!
Она сама взяла его за руку; лицо её горело. Пушкин обнял мадмуазель Софи.
Она жадно ответила ему на поцелуй, но лихорадочная дрожь сотрясала её с головы до ног. Пушкин гладил её, шепча бессвязные слова.

И в миг, когда его осмелевшая рука посягнула на «ревнивые одежды», два огненных глаза вдруг открылись перед ним, их мрачный взгляд упал в самую его душу, и неузнаваемо хриплый голос прервал слепое бормотание страсти:

— Vous etes un Fou! Laissez-moi tranquille!

Она вырвалась из его рук, встала с канапе и, подойдя к широкому зеркалу над мраморным камином, принялась поправлять прическу. Краска сошла с её лица, уступив место обычной бледности.

— Прощайте, жрец Вакха! — язвительно бросила она, выходя.

Ошеломленный Пушкин несколько минут просидел в одиночестве. Мысли его путались. В гневе и разочаровании он поднялся и вышел.

Только через минуту он заметил, что ошибся дверью и идет по незнакомым комнатам. Где же лестница? Встречные лакеи уклончиво избегали его, они были слишком хорошо вышколены. В нетерпении он отворил какую-то дверь и увидел сквозь портьеру яркий свет. На него повеяло теплом, запахами одеколона и спермацета.

Он осторожно приподнял краешек портьеры и оцепенел.

В комнате с китайскими обоями горело несколько канделябров; перед огромным венецианским зеркалом стояла в белом пеньюаре мадмуазель Софи. Пушкин увидел в зеркале её страдальчески-одухотворенное лицо, золотой крестик на белоснежной коже и тонкие руки: раскинув пеньюар, она лихорадочно ласкала свою удивительную грудь.

Вдруг она встретила в зеркале горящий взгляд Пушкина, пронзительно вскрикнула и исчезла.

Пушкин вышел вон, встретив лакея, и тот проводил его к лестнице. Спустившись вниз, он вырвал у гайдука свою пубу и шляпу. На улице он нанял на последние деньги извозчика и помчался в себе в Коломну. Он проклинал свою глупую страсть, но странная девушка перед зеркалом стала еще желаннее.

IV

Листая в эту ночь своего Парни, он наткнулся на стихотворение «Взгляд в Цитеру» и был поражен сходством его темы со своим приключением. Тотчас же он взялся за перевод стихотворения.

Он закончил его через два дня. Получилось вольное переложение: Пушкин, как и Жуковский, не мог удержаться в строгих рамках точного перевода. Он озаглавил это переложение деликатным названием «Платонизм». В стихотворении говорилось, что поэт разгадал тайну девушки, отвергающей и Купидона, и Гименея: она молится «другому богу».

... Твой бог не полною отрадой
Своих поклонников дарит;
Его таинственной наградой
Младая скромность дорожит;
Он любит сны воображенья,
Он терпит на дверях замок,
Он друг стыдливый наслажденья,
Он брат любви, но одинок.

София Потоцкая вызвала в нем жалость, и в пушкинском переложении изысканная фривольность Парни приобрела новую окраску.

В уединенном упоенье
Ты мыслишь обмануть любовь.
Напрасно! — в самом наслажденье
Тоскуешь и томишься вновь...
Амур ужели не заглянет
В неосвященный свой приют?
Твоя краса, как роза вянет;
Минуты юности бегут.
Ужель мольба моя напрасна?
Забудь преступные мечты;
Не вечно будешь ты прекрасна,
Не для себя прекрасна ты.

Это был один из тех случаев его молодости, когда сквозь розовую дымку легкой поэзии на миг внезапной молнией посверкивала необычайная мудрость настоящего Пушкина. Красота не самоцель — она обречена жизни!

Не сразу он решился на следующий визит. У Софьи Потоцкой он застал многочисленное общество: польских аристократов, генерала Киселева, Бутурлина. Граф Милорадович и Ольга держались в некотором уединении, видно было, что бравый воин без ума от младшей сестры. С Пушкиным обе сестры держались любезно и невнимательно. Он уехал в отчаянии.

Стихотворение «Платонизм» привело в восторг его друзей: Дельвиг, Щербинин переписали его, Никита Всеволожский выучил наизусть. Через лампистов эти копии достигли будуаров светских дам. Результат не замедлил сказаться: Софья Станиславовна более не замечала Пушкина.

— Что за рождественский подарок поднесли вы Софье? — спрашивала старшая из красавиц. — она не может имени вашего слышать без содрогания.

— Я сделал величайшую глупость, графиня: я понял молодую и прекрасную особу, — сказал Пушкин. — Не нужно понимать девушек, следует их только любить.

— Все это вина Бенджамена Констана и новейших романов *avec leur manie de compliquer les choses simples*, — сказала гречанка. — В прежнее время страсти были сильнее, но выражались прямо. Как хорош был князь Таврический! Однажды под Бендерами он одержал большую победу. . . Нет, я говорю не о взятии крепости, а о взятии княгини Долгорукой. Осчастливленный сею дамою, он вышел из землянки с кубком вина (знаете вы, что была землянка его? — колоны, ковры, статуи) и приказал бить тревогу. Армия думала, что турки делают вылазку, и из всех батарей произведен был батальный огонь! Каково? Долгорукий сидел за картами, они послали спросить, что за пальба. Посланный вернулся и доложил, что уже дан отбой: просто светлейший скомандовал батальный огонь для развлечения Долгорукой. Как вы думаете, что выразил на оное сурруг?

— Что его жена этого не стоит?

— Отчего же, она стояла этого, мой дорогой Пушкин: она была хороша.

— Что же сказал Долгорукий?

— «Экое кирикуку!»

Пушкин закатился от хохота. Он смеялся с такой неистовой радостью, что никто не удержался бы от смеха, глядя на него.

Не удержалась и старая графиня. Они смеялись до слез и вдруг графиня, словно в пароксизме смеха, упала ему на грудь. Пушкин вынужден был поддержать её за талию. Они были одни, графиня поцеловала его; её руки касались поэта.

Пушкин даже не слишком удивился. . .

Конечно, никто бы не дал ей пятидесяти семи лет. . . но добиваться бесплодно любви дочери и взамен получать утешение от матери — *Ce serait trop ridicule!*

Он был светским человеком — *Le ridicule* его пугало. Итак, он почтительно усадил графиню в мягкое кресло «помпадур», поцеловал ей руку и сказал изысканный комплимент по поводу вечной молодости. И при первой возможности бежал — отвергнув любовь самой блестящей распутницы екатерининского века.

Он бежал утопить в вине разочарование одной любви и смешливую досаду на другую любовь. Но странная история с «двумя красавицами» продиктовала ему один из самых остроумных эпизодов «Руслана и Людмилы» — эпизод Финна и Наины.

Встретив его в театре, Федор Глинка, правая рука Милорадовича, спросил:

— Вы уже знаете, что наша обольстительная руина Потоцкая выиграла процесс?

— Вот как? — невольно краснея, ответил Пушкин.

— Да, решение уже подано на высочайшее утверждение, в коем не сомневаются, — сказал Глинка, многозначительно умалчивая, кто не сомневается.

— Значит, ваш патрон счастливее меня! — сказал Пушкин на ухо Глинке.

Тот улыбнулся и погрозил ему пальцем.

В своей ложе появились Потоцкие — мать и обе дочери. Позади них была видна красивая фигура генерала Киселёва. В свете его уже называли *le chevalier servant* мадмуазель Софи. Поговаривали о возможном браке.

Глава XIII. Ледоход на Неве

— Вы слышали о чудесном обращении Магницкого?

— О да! Он был прекрасен, произнося свою речь.

Петербургские святоши пересказывали речь гражданского губернатора Симбирска Магницкого, произнесенную при открытии отделения Библейского. Впрочем, речь была напечатана во всех газетах. Но кто же читает русские газеты?

Михаил Леонтьевич Магницкий заставил вступить в Библейское общество всех симбирских чиновников и дворян, сжег на площади книги Вольтера и других философов минувшего столетия. Для виду газеты порицали излишнее усердие Магницкого, но это аутодафе понравилось государю. До своей ссылки Магницкий, давний друг Сперанского, был безбожник и кошун первого класса, а теперь стал воинствующим христианином.

Теперь Магницкого назначили попечителем Казанского университета. Он ринулся преследовать отвергнутые им «французские идеи», изгнал из университета одиннадцать профессоров, запретил вскрывать трупы и преподавать системы Коперника и Ньютона, предписал на академических актах перемежать научные доклады с молитвами. Казанский ректор Никольский так одурел от страха, что в своем курсе геометрии трактовал треугольник как символ святой Троицы. Магницкий был осыпан милостями и деньгами.

Всемогущий Голицын, министр и президент Русского Библейского общества, был на вершине славы; в свете закатывали глаза, о его филантропии, о его благодеяниях бедным. Его считали чуть ли не святым: к нему подводили детей, и он их благословлял, возлагая руки на их головы. Государь император находился всецело под его влиянием.

— Говорят, государь дал аудиенцию лондонским квакерам.

— О да, он молился и плакал вместе с ними, и даже целовал руки их старейшине Аллену!

— А что слышно о «Русских квакерах»?

— Государыня благоволит к мадам Татариновой. Князь Александр Николаевич сам побывал на их радениях в Михайловском замке.

В свете внезапно вошел в моду мистический салон Александры Петровны Хвостовой, которая написала несколько брошюр чрезвычайно небесного содержания. У нее частенько бывал сам министр, Александр Николаевич Голицын. Он вообще дружил с дамами, вышедшими из опасного возраста.

Молодые женщины его не интересовали: у министра были «греческие вкусы». В свете называли нескольких его любовников, в том числе чиновника Иностранной Коллегии Бантыша-Каменского, одного из сыновей известного историка.

На обскурантизм Голицына и «триумфы» его над наукой Пушкин откликнулся злой эпиграммой, где, как обычно, не разбирает политических вин и личных пороков своей жертвы:

Вон, Хвостовой покровитель,
Вон, холопская душа!
Просвещения губитель,
Покровитель Бантыша!
Напирайте, бога ради,
На него со всех сторон!
Не попробовать ли сзади?
Там всего слабее он.

Аракчеев и Голицын были враками, но для Пушкина они представлялись равными по своему злу: первый — кровожадный палач, второй — губитель душ человеческих. Граф Алексей Андреевич — солдат грошевой курвы, князь Александр Николаевич — «бардаш»; одно другого стоит.

Среди петербургских промозглых ночей слышалась то и дело песенка, от которой шарахались прохожие:

Народ честной мы позабавим
И у позорного столпа
Кишкой последнего попа
Последнего царя удавим.

Это цвет молодежи разъезжался со своих таинственных ужинов. Песенку все считали тоже сочинением Пушкина: возможно, так оно и было.

II.

Пушкин стрелялся с Рылеевым, но оба выстрелили в воздух, а потом их сразу помирили. Кондратий Рылеев был совсем новым человеком в столице, но его уже заметили. Резкость его суждений поражала, ненависть к режиму бросалась в глаза. Отставной артиллерийский офицер тоже писал стихи, как все молодые люди того времени. Он подражал Батюшкову, но, конечно, не мог угнаться за его легкокрылой музой на своей скрипучей колеснице. Анакреонтика Рылеева была тяжелой и вымученной; он пел радости жизни и любви, словно исполнял трудную повинность.

Пушкин посмеивался над его дикой честностью и упрямой неумеренностью в суждениях, над его отзывами о европейской политике.

— Он знает Европу лишь по русским газетам, каковые прочитывает в лавке Сленина, — говорил Пушкин. — Что можно вычитать в русских газетах? Взгляд его узок и темен, он не любовник, он монах свободы.

Одна из летучих импровизаций Пушкина, пародия на рылеевские стих, привела к дуэли. Кончилось без крови, но Пушкин начал слегка уважать этого чудака. Раз человек проверен под дулом пистолета, значит можно спокойно подавать ему руку, не опасаясь замараться.

Они оставались далеки: Рылеев — слишком серьезный человек, жесткий, строгих правил. А Пушкин. . .

20 сентября 1819 года «Зеленая лампа» отметила именины одного из своих собратьев — Юрьева. К тому же он получил перевод в лейб — уланский полк. Пушкин сочинил по этому поводу заздравную песню которую «ламписты» спели в честь Юрьева:

Здорово, Юрьев отменили!
Здорово, Юрьев лейб-улан!
Сегодня для тебя пустынный
Осушит пенный стакан

И хор дружно подхватил припев:

Здорово, Юрьев именинник!
Здорово, Юрьев лейб-улан!

Запевала:

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!
Для нас, союзники молодые,
Надежда лампа зажжена.

Хор:

Здорово, рыцари лихие
Любви, свободы и вина!

Запевала:

Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель,
Где с громким смехом сладострастье
Ведет нас пьяных на постель.

Хор:

Здорово, молодость и счастье,
Застольный кубок и бордель!

Эта бешеная жажда жизни заключила в себе и творчество, и гусарство, и политическую свободу.

Божба, кощунство и открытая непристойность звучали вызовом гнусно-богомольной эпохи. Голицын окутывал себя облаками кадильного дыма, чтобы скрыть за ними свои неизменные пороки и побуждения; распутницы света живодеи провинции играли в мистические озарения; граф Аракчеев был поклонником сентиментальной поэзии.

Все были так чувствительны и религиозны, что в приторном дыму фимиама нечем было дышать.

В этой душной атмосфере настоящая и неприкрытая грубость была нужна, как глоток свежего воздуха.

В свете Пушкин задыхался и ненавидел его «вялые, бездушные собранья», как писал в «Послании к князю Горчакову».

Когда в кругу Лаис благочестивых
Затянутый невежда-генерал
Красавицам внимательным и сонным
С трудом острит французский мадригал,
Глядя на всех с нахальством благосклонным,
И все вокруг и дремлют и молчат,
Крутят усы и шпорами бренчат,
Да изредка с улыбкою зевают, —
Тогда, мой друг, забытых шалунов
Свобода, Вакх и Музы угощают.
Не слышу я, бывало, острых слов,
Политики смешного лепетанья,
Не вижу я изношенных глупцов,
Святых невежд, почетных подлецов
И мистики придворного кривлянья...

«Затянутый невежда-генерал» в кругу «благочестивых Лаис», богомольных распутниц, с его смешным французским языком был похож как две капли воды на Милорадовича.

Вольному отпрыску аристократии хотелось вырваться из плена узаконенной скуки и утонченного лицемерия. Пушкин не мог в те годы доверять серьезности, подозревая в ней или обман, или тупость.

Рылеев был серьезен.

III.

Казалось, Пушкин ищет столкновения с правительством.

Во второй половине февраля 1820 года до Петербурга дошла громовая весть из Парижа: герцог Беррийский, надежда династии, был убит каким-то рабочим у театрального подъезда.

13 февраля, когда сорокалетний герцог вышел из театра, к нему быстро приблизился неизвестный, с величайшим хладнокровием, вонзил ему в сердце длинный кинжал. Он был схвачен и оказался седельщиком Пьером Лувелем, 36 лет, Лувель заявил, что его целью было «exterminer les Bourbons», уничтожить династию Бурбонов, у которой более не оставалось наследников. Однако, вскоре молодая вдова, герцогиня Беррийская, родила сына. Лувель с твердостью умер на эшафоте. Несмотря на любовь короля к премьер-министру Деказу, министерство пало. К власти во второй раз пришел Ришелье, бывший губернатор Новороссии.

Эти события взволновали Европу. Дремлющий французский народ на миг пошевелился — и одним Бурбоном стало меньше. Нация еще раз напомнила о своем существовании.

В Петербурге весь высший свет собрался на «торжественное поминовение» герцога Беррийского. Русские аристократы надели траур. А вскоре Пушкин, одним из первых раздобыл литографированный портрет Лувеля, показывал его в театре знакомым, написав на портрете: «Урок царям».

— А не пора ли, Пушкин, за дело браться? — подзадорил его кто-то из демагогов партера.

— Теперь самое безопасное время, — ответил он во всеуслышание через три ряда кресел, — по Неве лед идет.

В ту эпоху в Петербурге еще не было постоянного моста, и ледоход на Неве означал, что дворец отрезан от Крепости.

Вызывающее поведение Пушкина возмущало друзей порядка. Люди благоразумные и набожные, воспаряющие духом и славящие господа, смотрели на Пушкина с изумлением и ненавистью:

— Гол, как бубен, в дерет нос!

— Не тверд в вере!

— Беспорядочного поведения человек.

— Бесчестит своё имя. . .

Член Вольного общества любителей российской словесности Каразин своими доносами на Пушкина графу Кочубею форсировал события.

Осторожный и хитрый Кочубей (дочь которого очень нравилась в юности Пушкину) представлял доносы Каразина государю. Александр I затребовал документальных подтверждений к этим сообщениям. Шпионы вышли на добычу рукописных пушкинских стихов.

Еще не подозревая об этом, Пушкин в марте 1820 года писал Вяземскому в Варшаву: «Петербург душен для поэта; я жажду краев чужих. . . » он сообщал, что окончил, наконец, свою поэму.

«Руслан и Людмила», первая большая поэма Пушкина, явилась литературным событием огромной важности. Уютный карточный домик сентиментального романтизма, сооруженный Жуковским, закачался: воспользовавшись драгоценными уроками самого прекраснодушного из поэтов, Пушкин применимо их к несравнимо обширнейшей задаче. Он превратил сказку в эпическую поэму, блиставшую необычной живостью и свободой повествования.

Карамзин счёл «Руслана» красивым пустячком, назвав его «поэмкой», но Жуковский воспринял эту вещь иначе.

Он подарил Пушкину свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму “Руслан и Людмила”. 1820, марта 26, Великая пятница». Баратынский оказался не прав в своих опасениях.

В марте в салоне графини Нессельроде происходил такой разговор:

— Вы слышали, что Пушкина ссылают?

— Давно пора! — отвечала графиня Нессельроде, жена управляющего Иностранной коллегией. — Государь был слишком добр к нему.

— Бедный Сергей Львович! — робко сказала княжна Трубецкая, вспомнив, что Пушкин — родня Трубецким.

— Вольно ж ему было так баловать мальчишку! — возразила графиня.

Весь Петербург обсуждал на все лады этот слух. Спорили только об одном, куда сошлют Пушкина — на Соловецкие острова или в Сибирь.

Из главы «Девочка из Стамбульской кофейни»:

Пушкин и Софья

Он видел, как бурно дышит грудь Софи и вздрагивают её ноздри.

— «Эвоэ! — и неги глас!» — повторила она шёпотом. — Боже мой, как прекрасно!

И в этот миг, возбужденный романтической красотой и томной грацией, Пушкин потерял самообладание и заключил Софью в свои объятия.

Она торопливо ответила на его поцелуй, но он ощутил, что горячее тело лихорадочно дрожит в его руках. Два огромных глаза на секунду открылись перед ним, страшный взгляд упал в самую его душу и тотчас вновь исчез под густыми ресницами. Она вырвалась, и охрипший, неузнаваемый голос поразил слух влюбленного:

— Vous etes un fou! Laissez-moi tranquille!

Она встала, оправляя прическу. Краска сошла с её лица, уступив место обычной бледности. Пушкин, напротив, сел — он был совершенно сбит с толку.

— Alors, c'est votre fason de conqueror? — язвительно бросила она. — Adieu, le pretre de Bacchus!

Он просидел несколько минут в одиночестве, ошеломленный странностью её метаморфоз. В рассеянности он поднялся и вышел из гостиной. Комната, в которую он попал, была ему незнакома. Желая возвратиться в гостиную, он вновь ошибся дверью.

Это была буфетская; нарядная горничная, звеня связкой ключей, пыталась отпереть буфет. Пушкин остановился в задумчивости, наблюдая за ней. Горничная, наконец, подобрала ключ, отперла буфет и вынула из него бутылку ликёра и рюмку. Она оглянулась, но не заметила Пушкина, стоявшего неподвижно и далеко. Девушка налила рюмку ликёра

и принялась его смаковать. Чтобы не мешать её, Пушкин бесшумно пербесёк буфетную и вышел в тёмный коридор, где горела одна свеча.

Где же лестница? Он пошёл по коридору, ожидая поворота. Небольшая дверь приклевила его внимание. Он открыл её, приподнял тяжелую портьеру. Свет, тепло и тонкие духи ударили по его напряженным нервам. Прямо перед ним перед ним, сплетаясь в поцелую, белели Амур и Психея, с права у большого венецианского зеркала стояла, слегка расставив ноги, Софья Станиславовна и рассматривала своё изображение.

Она была уже переодета. Пушкин видел в зеркале страдальчески-одухотворённое лицо и нежно приоткрытые губы. Раскинув пеньюар, Софья мило лелеяла руками свою грудь.

Вдруг она встретила в зеркале горящие глаза Пушкина, и пронзительно взвизгнула и исчезла.

Он вышел, весь в огне. Отыскал лестницу, спустился вниз, вырвал у лакея в прихожей шляпу, шубу, трость и бросился вон.

Найдя извозчика, он помчался к себе в Коломну и всю дорогу проклинал свою глупую страсть, которая от этого ничуть не уменьшалась.

Концовка

— Что же он сказал?

— «Экое кирикуку!»

Пушкин закатился от хохота. Он смеялся так неистово и радостно, сверкая зубами и даже показывая дёсны, что никто не удержался бы от смеха, глядя на него.

Не удержалась старая графиня. Они смеялись до слез, раскачиваясь и хватая друг друга за руки. И вдруг старая графиня упала ему на шею, окутав его целым облаком французских духов. Она обняла его и поцеловала в шею, возле уха. Руки её свидетельствовали о крайней нескромности.

Он даже не слишком удивился: внутренне он предчувствовал нечто подобное. Конечно, великие куртизанки не стареют, никто не дал бы графине её пятидесяти семи лет. . . Но Пушкин страстно не любил смешных положений. Тщетно добиваться любви дочери и взамен получить утешение от матери: «*Ce serait trop redécule*»

И он бежал, отвергнув любовь девочки из стамбульского кофейни, фаворитки Потёмкина и графа прованского, самой блестящей распутницы екатерининского века.

Он бежал утопить в вине досаду отвергнутой любви и забыться в картах и театральных приключениях.

Но странная история с красавицами Потоцкими продиктовала ему один из самых остроумных эпизодов «Руслана и Людмилы» — эпизод Финна и Наимы.

Встретив его в театре, полковник Фёдор Глинка, правая рука Милорадовича спросил:

— Вы уже знаете, что наша обольстительная графиня Потоцкая выиграла свой процесс?

— Вот как!

— Да, решение в её пользу и уже подано на высочайшее утверждение: государь утвердит несомненно.

— Это значит, что ваш патрон счастливее меня, — сказал Пушкин на ухо Глинке.

Тот улыбнулся и погрозил ему пальцем.

Спустя два года Софья Станиславовна Потоцкая вышла замуж за светского знакомого Пушкина — генерала Киселёва, начальника штаба Второй Армии.

ОТЗЫВЫ О СТАТЬЯХ

Р. Г. Назиров

Публикации хранящихся в архиве внутриредакционных отзывов (чаще — их черновики), которые Р. Г. Назиров писал для статей коллег, мы считаем важной потому что терминологический аппарат этих текстов позволяет лучше понять систему научных ориентиров учёного, его научной аксиологии, чётче уяснить конфигурацию его исследовательской оптики.

В этом номере публикуются два коротких отзыва, написанных в конце 1970-х и в середине 1980-х годов. Второй текст не датирован, но статья, на которую он отзывается, вышла в сборнике «Проблемы реализма» (Вып. V, Вологда) в 1978 году.

Отзыв о статье В. Я. Евсеева «О типологических и других сходениях в эпике финно-угорских и тюркских, восточнославянских, кавказских народов»

(машинопись, 16 страниц)¹

В мировой фольклористике общепризнана важная роль финно-угорского фольклора и мифологии в международных связях, особенно по оси «Восток-Запад». Не менее солидно в русской историко-этнографической науке определено значение финно-угорских элементов в сложении великорусской народности, в состав которой рано начали входить многие охотничьи племена Восточно-Европейской равнины. К сожалению, и то и другое в настоящее время оказалось на периферии научных исследований. Статья В. Я. Евсеева представляет собой чрезвычайно актуальное восполнение указанных пробелов.

В ней отчасти суммарно обзревается, а отчасти на основе сопоставительного анализа прослеживаются типологические сходения и генетические связи эпики финно-угров с эпосом восточных славян и тюрков, а также более дальних кавказских народов. При этом В. Я. Евсеев строит свои увлекательные предположения на прочной этнографической и историко-культурной базе, с исключительной точностью отмечая большие и малые миграции финно-угров, их ассимиляцию в различных иноязычных средах, а также их участие в исторической жизни крупных народов, вплоть до финской карельской дружины Юрия Долгорукого, мужа грузинской царицы Тамары, или участия мордвы в покорении Казани (1552). Статья В. Я. Евсеева пронизана духом историзма и является блестящей демон-

¹АРГН, оп. 1, д. 32.

страцией сильнейших сторон сравнительно-исторического метода в русской академической традиции.

Благодаря лаконизму изложения, автору удалось в ограниченные рамки статьи вместить очень богатый материал (эта густая насыщенность фактами порою несколько затрудняет восприятие). Несмотря на преднамеренную сухость слога, некоторые страницы (в частности о финно-тюркских схождениях и связях) читаются с огромным интересом и порою даже — не побоимся этого слова — с восхищением. В. Я. Евсеев имеет право пренебречь красотами слога, поскольку сквозь внешнюю сухость пробивается красота творческой, ищущей мысли. Проводимые им сближения увлекательно смелы и в то же время обоснованы.

Представляются исключительно меткими и захватывающими соображения В. Я. Евсеева о происхождении имени русского былинного героя Садко; за этими соображениями раскрывается мир древних межэтнических контактов, обрисовывается перспектива проникновения в сложный генезис ранних новгородских былин, которые просто не могли не отразить участия северных финно-угров в образовании Новгородской земли. С полной объективностью В. Я. Евсеев показывает и могучее влияние древнерусского эпоса и фольклора на финно-угров, равно как и отражение в их фольклоре общей с Русью истории. Но все находки и гипотезы этой статьи не поддаются перечислению, да и вряд ли это необходимо для данного отзыва.

Статья В. Я. Евсеева — образец высокой научности, добросовестности, исследовательской щепетильности; свои проблемы автор трактует с гуманистических и глубоко интернационалистских позиций, характерных для советской науки. Считаю, что публикация этой статьи украсит сборник «Фольклор народов РСФСР».

Р. Г. Назиров,

к. ф. н., доцент БГУ (Уфа)

10 ноября 1985 г.

Отзыв о статье В. П. Скобелева «Народный характер в «Губернских очерках» М. Салтыкова-Щедрина»

Пафос работы В. П. Скобелева — исправление ряда упрощительских, слишком «выпрямляющих» суждений о «Губернских очерках» и о творчестве Щедрина вообще и в то же время утверждение более точного и комплексного подхода к этому творчеству. Исследователь совмещает элементы диахронного анализа с синхронным, рассматривая включение радищевской традиции, житийного и фольклорно-эпического элементов в идейно-художественное целое «Губ. очерков». Вопреки одной из авторитетных точек зрения, сложившихся в щедриноведении, В. П. Скобелев убедительно доказывает социальную аналитичность

народного характера в «Губернских очерках». Возникающий на стыке историзма и просветительской идеологии, этот характер отличается и внутренней противоречивостью (отражающей противоречия эпохи, революционно-демократич. движения и самого Салтыкова-Щедрина как его идеолога и выразителя), и замечательным единством устремления, которое связано с всеобъемлющим духом движения и изменения. Могучая целеустремлённость Салтыкова-Щедрина, его «свирепая» жажда социального переустройства и новой «разумной» и справедливой жизни отнюдь не означала ни фанатизма, ни идеализации народа: В. П. Скобелев сумел вскрыть в «Губ. очерках» замечательную тонкость и многогранность творческой мысли. Вся работа В. П. Скобелева написана кристально ясным стилем, методологически и терминологически безупречна; можно было бы пожелать ей только большей концентрированности изложения.

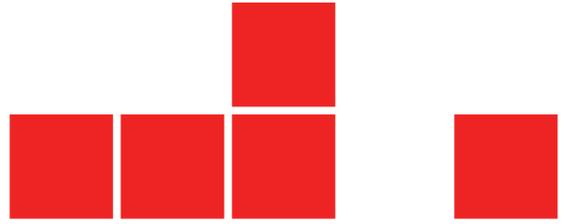
Работа, безусловно, заслуживает опубликования.

Р. Г. Назиров

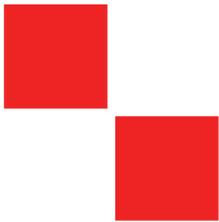
доцент кафедры русской литературы

Башкирского университета,

кандидат филологических наук



Биографический отдел



Кладоскательство – болезнь всего человеческого рода, проклятие нищих мечтателей. В Египте были воры пирамид, в Италии – tombaroli (грабители могил), на Украине – копатели курганов, в Киеве – искатели кладов Мазепы, на Полтавщине – Кочубея (он зарыл сокровища перед казнью, Орлик пытал его, но гордый старик не выдал тайны). Надо уметь искать клады. Немецкое поверье об альрауне (кладоскательском корне). Франц. *main de gloire*, русская «разрыв-трава». Цвет напоротника



Биографический отдел

Интервью с сыном Ромэна Гафановича Станиславом Назириным

Беседовал главный редактор журнала «Назиринский архив» Борис Орехов.

Борис Орехов: Мы пытаемся восстановить биографию Ромэна Гафановича, в том числе и, так сказать, его повседневную историю. Как он взаимодействовал с коллегами? Мы частично это видели или что-то нам рассказывали. Что-то я видел сам, как он общался, например, с соседями, когда я приходил к нему. Это было потрясающе, потому что мне вот казалось, что люди в таком бытовом общении, которые вокруг него существуют, они ему не ровня, они как-то ниже по уровню. Тогда я был младше, максималистом в каком-то роде, конечно, для меня это был идеал недостижимый, профессор, учитель. С другой стороны, он выходил курить, с кем-то говорить, и общался совершенно свободно с простыми людьми. Потом, читая его дневники, я лучше понял, почему так происходит. Потому что он в молодые годы никогда не ставил себя выше, что я вот прочитал больше, и я якобы лучше других людей. Это очень хорошо видно по каким-то его ранним записям. Но они довольно быстро прерываются. После 71 года Назиринов больше не ведет дневника регулярно, и что было до этого мы более-менее знаем. Но не все. Например, он довольно много пишет про свою личную жизнь, про ощущения того, что происходит в России, в мире, в политике, но ничего не пишет про обучение в университете, как будто этого нет, как будто это что-то неважное. Такого довольно много. Видно, насколько фокус внимания смещается.

Может быть, начать с бумаг, с архива. Вы, наверное, должны были наблюдать, как он появляется, как он растет. И где-то они хранились дома, эти бумаги. И было ли к ним какое-то особенное отношение, допустим, охранительное, что вот сюда не смотреть. Или просто лежит бумажки и лежат.

Станислав Назиринов: Ничего охранительного не было точно совершенно. Потому что со стороны кажется, что он пишет и пишет, бумаги накапливаются, папки растут на столе. Он же сидел в той большой комнате все время. И весь этот стол, который в праздники раскладывался как обеденный, он был у него рабочий. И это все выросло. Отношение к этому как к будущему архиву или к чему-то цельному, какой-то работе, мне вообще это

не понятно и не видно. И на самом деле по каким-то обрывкам текстов, или что-то он сам давал почитать — он вытаскивал откуда-то несколько листочков, давал посмотреть, но это все было настолько из разных областей, что сказать, что вот этот блок, это здесь, это здесь, это здесь — было невозможно. Я для себя не представлял, чтобы он целенаправленно писал дневники или создавал архив будущий — у меня нет таких воспоминаний. Возможно, оно было, но для меня — папа сидит работает, и все.

Б. О.: То есть нельзя сказать, что он пытался это специально охранять, просто были рабочие записи. . .

С. Н.: Нет, я не помню такого. Да! Сейчас, сейчас. . . Нет, был какой-то шкаф, который был заперт на ключ. . .

Б. О.: В маленькой комнате?

С. Н.: Ну у нас же как, у нас жизнь делилась на жизнь с тетей и жизнь, когда тетя переехала. В каком году это было, я не помню, но это было, по-моему, в начале восьмидесятых. Но тогда из большой комнаты переехал не кабинет, в большую комнату просто ушла их спальня, в маленькую, в смысле, из большой. Какие-то шкафы и бумаги, наверное, тоже переехали, безусловно.

Б. О.: Дина Гафановна жила в маленькой комнате?

С. Н.: Да. Она жила в маленькой комнате, а большая была спальня и кабинет, все вместе. Вот, по-моему, был этот шкаф, который был заперт на ключ, но ключ, по-моему, все равно был в скважине.

Б. О.: Ну, то есть, чтобы просто не мешалась дверца, а не что это был секрет.

С. Н.: Ну да, я не помню, чтобы. . . Врать не буду. Сказать, чтобы это было что-то особо охраняемое, что он берег от глаз чужих, я не припомню.

Б. О.: А как вы вообще относились к этому в то время? Что вот много бумаг, они копятся. Действительно ведь огромные получились объемы. Чтобы теперь их хранить, нужна специальная комната, в БГПУ она выделена, это действительно очень много всего. Это было частью пейзажа или вам было любопытно, что там внутри?

С. Н.: Ну, на самом деле, поскольку это было с самого детства, то это было органично с самого начала.

Б. О.: Как стук колес.

С. Н.: Да. Поэтому ничего необычного или странного в этом не было. Это было только постоянное наблюдение того, что человек находится в процессе письма. Что это было? Наверное, я задавал такие вопросы. Но не буду сейчас врать, не буду сочинять его ответы. Он же был педагог. Педагог, наверное, по моей логике, должен прочитать кого-то, запомнить это и пойти донести до других. Чем же ты занят, папа? Созданием какой-то параллельной реальности, еще одной. Но я не помню, были ли такие мысли в детстве, появлялись ли они.

Какие-то вопросы если возникали, он отвечал, доставал какие-нибудь книжки, показывал. Обожаю я у него французский Larousse с истертой обложкой, и там были иллюстрации, который я доставал тайком, потому что мне нужны были мундиры наполеоновской армии. Вот, кстати, где у нас с ним был контакт — я увлекался наполеоновской историей, и вот в этом он мне помогал. Помню, когда я уже стал постарше, в «Знании» на Ленина я увидел книжку на польском. По-польски, я естественно, не читал, но увидел, что написано «Наполеон», я ее купил и принес ему. И в этом смысле контакт был, потому что про Наполеона у него тоже очень много материалов.

Б. О.: Еще даже до студенчества, еще только закончив школу, он собирался, во-первых, стать историком, а во-вторых, написать о Великой французской революции большую книгу, первоначально, видимо, историческую, потом и художественную, вероятно, тоже. Возможно, что художественная книга есть, я не видел просто. Кажется, что-то про Марата есть. В общем, вся эта история про Великую французскую революцию до Наполеона, который являлся финалом всего этого, его очень увлекала, действительно. И по-польски-то он читал. В дневниках есть просто переводы из польских газет. Он действительно много занимался этим, особенно когда сельским учителем был.

Получается, что он иногда что-то показывал из своих записей?

С. Н.: Да. Причем мне кажется, что мы уничтожали вот эту кипу с черновиком повести «Красный Бонапарт». Не помню как было, либо я успел что-то прочитать, буквально пару страниц, либо он мне сам это пересказал, когда я спросил, почему мы это уничтожаем. Не помню, что он ответил, но, очевидно, если мы уничтожали, значит, в этом не было надобности больше.

В повести была изображена личность с характером, нравом Наполеона, но который существовал в ситуации гражданской войны. Ни сюжета, ни каких-то деталей я не помню.

Б. О.: Вполне возможно, что это был просто один из черновиков и другой вариант остался. Для каждого художественного произведения, и не только художественного, Ромэн Гафанович всегда делал много-много вариантов. Для нас сейчас это потрясающе, потому что пользуемся компьютерами, он переписывал все это много раз, по семь раз. Для художественных произведений не все черновики сохранились, но что касается научных произведений, то сначала это какие-то заметки, потом это развернутый план в тетради. Потом это от руки написанный текст на листе А4, несколько раз, в нескольких вариантах, какие-то более сокращенные, какие-то более пространные. Потом перепечатано на машинке. Как это все было возможно и в какое время это умещалось, совершенно непонятно. У вас были какие-то воспоминания, как получалось, что Ромэн Гафанович столько успевал?

С. Н.: Ну он же работал ночами. Он спал днем.

Б. О.: Но ведь он должен был еще преподавать...

С. Н.: Я попытаюсь сейчас восстановить его график. Я не помню, что у него были пары в девять утра, наверное, в то время несколько позже. Он просыпался, шел на пары, возвращался, обедал, ложился спать. Вечером просыпался и садился на всю ночь. Потому что никто не мешает, это сокровенные часы, они были самые тихие. С другой стороны, это просто сдвинутый режим, такой расчлененный какой-то. Даже если он спал по два раза, хватало ему времени выспаться или нет, не знаю.

Б. О.: А вот тот момент уничтожения какой-то части архива с вашей помощью — он примерно на какие годы приходится, когда это произошло?

С. Н.: Я думаю, что это было начало восьмидесятых. Я это помню, значит, это не семидесятые. Это начало восьмидесятых, наверное, до 85–86 года.

Б. О.: В архиве, так получается, на поверхности, наиболее заметная его часть, приходится на начало семидесятых годов. Такое впечатление, что именно в это время Назиров сделал больше всего, в остальное время его активность была меньше. Но это просто иллюзия в силу того, что он оставил, не уничтожил те материалы, статьи, книги. Но есть ведь на самом деле главный вопрос, вообще самый главный. Потому что в разном общении, коллег между собой и так далее, есть одна очень известная всем история, связанная с вами. Ромэн Гафанович ее периодически пересказывал, и она звучит действительно весьма своеобразно — кажется, что не в любой семье такое может произойти. Ромэн Гафанович несколько раз рассказывал разным людям, мне нет, но мне много кто пересказывал, про то, что однажды с вами повздорил из-за трактовки «Гамлета». Расскажите все-таки, что же там было, что это за история?

С. Н.: Да, я помню это. Наверное, вот что. Поскольку в молодости мы все являемся ниспровергателями, разрушителями, нигилистами, циниками и всем прочим, то... Я просто очень много «Гамлетом» занимался и на самом деле втайне, где-то в душе продолжаю лелеять мечту о том, что я когда-то все же что-то сделаю. Но мысль о том, что Гамлет «Из жалости я должен быть суровым / Несчастья начались, готовьтесь к новым»... может быть, речь шла о том, что по мне Гамлет все-таки скотина, фашист. При всем том, что он образован, высоко интеллектуальный тип, все у него прекрасно, он элита, при этом это человек, у которого разрушается душа. Я не первооткрыватель, трактовок куча. Все трагедии Шекспира не о том, что человек умирает, а о том, что умирает его душа. Отелло погибает не потому, что он задушил Дездемону, он превратился в другого человека, в плохого. И Гамлет в результате превращается в плохого человека, потому что убивает всех вокруг себя, все разрушает, и государство гибнет в результате его действий. Потому что папа-Гамлет натворил кучу всякой ерунды, а убивший его брат Клавдий эти политические ошибки исправляет, извините меня, дипломатическим путем. Но Гамлет в порыве мести разрушает не только убийцу своего отца, он разрушает мать, страну, государство, все остальное, и этот его протест влечет за собой гибель гораздо большего количества людей и краха всего вокруг. И мы сейчас не говорим про все сентенции, которые он там провозглашает,

это понятно, это все оправдание персонажа — я это делаю потому, что у меня благородные порывы. Поступки при этом оказываются совершенно разрушительными.

И может быть на этой почве, потому что, как я могу вспомнить, отец склонялся все же к более романтической трактовке персонажа.

Б. О.: К более традиционной.

С. Н.: Да. И потом, когда я поступил в институт, у нас действительно были конфликты.

Б. О.: Это не единичный случай?

С. Н.: Нет, я помню, что когда приехал на каникулы, мы с ним поссорились так, что я собрал вещи и ушел к брату, и отца не видел до самого отъезда. В тот раз мы поругались по поводу того, что «вы интеллигенция». Он сказал, что мы интеллигенция, а я сказал, что вся интеллигенция уехала в 24 году на французском пароходе, а вы «просто много книжек прочитали и взяли на себя эту нелегкую обязанность». Это было в девяностые годы уже. Наверное, это было чистое противоречие, соперничество. Тут с моей стороны был совершеннейший детский сад.

Б. О.: А про Гамлета было раньше или позже?

С. Н.: Это были девяностые. Я уже поступил в институт. Соответственно, это было с 89 по 93 год. Но это не было ссорой. Вот когда мы поругались насчет интеллигенции, это мы поругались. Может, там были какие-то эмоции, может быть я назло стал кричать, что Гамлет фашист и скотина, но я не помню это буквально, так, как оно происходило. Мне просто хотелось противоречить.

Б. О.: Но это тоже важно, да? Ведь Ромэн Гафанович мог ничего не рассказывать, а он рассказывал многим людям про это. . .

С. Н.: Но это не была ссора, это был спор.

Б. О.: Он мог сделать акцент на том, что это была ссора, с некоторой может быть гордостью внутри. С другой стороны, он мог воспринять это как ссору и тяжело это переживать. Поэтому важно понять, как это им воспринималось.

С. Н.: Ну, я не думаю о том, что это была ссора. Может быть, это была жаркая дискуссия, но которая ни в коем случае в конфликт не переросла. И я думаю, если он постоянно об этом говорил, он это говорил именно с удовольствием. Потому что это не было конфликтом, не могло быть.

Помню, когда я еще учился в школе, заканчивал или ближе к окончанию, зашла речь о Толстом, и я сказал, не из желания понравиться папе, что мне не нравится Толстой, что он слишком назидателен. И тут он — «ну да, в нем есть дидактичность». Я помню вот такие милипусечки, сегменты разговоров. И он тогда со мной согласился. Ну как согласился, с высоты своего. . . но он никогда не общался таким образом: «Вот, ты, мальчишка, в угол!» Нет, такого не было. Мне кажется, со мной он был, как и с соседями, которые не читали Достоевского, совершенно демократичен и спокойно воспринимал все, что ему говорили.

И что касается, Гамлета, это не было ссорой. Нет, это, может быть, была дискуссия, которая его завела, задела, и в этом была отправной точной каких-то других размышлений,

в другую сторону, может быть, ему это было даже интересно и помогло, потому что о Гамлете можно бесконечно разговаривать, ты снимаешь один слой, а за ним другой, третий, и они не заканчиваются. Просто в тот момент у меня было такое видение, и оно было перпендикулярно его видению.

Б. О.: Так выглядит, как будто бы те споры, которые у вас были, они складывались потому, что у вас было мнение скорее несколько новаторское, ближе к необязательно ниспровергающему, но ближе к полюсу, а у Ромэна Гафановича была точка зрения чаще более консервативная.

С. Н.: Да, да, это так, это правда, он все-таки был более консервативен.

Помню, была такая история. У нас на курсе был спектакль «Дядя Ваня», который ставил один знаменитый артист, который был у нас педагогом. А у меня лежала отцовская статья по «Дяде Ване». Я был назначен на роль Дяди Вани. Наш педагог стал репетировать с нами. Но многие артисты, которые репетируют с режиссерами, не умеют формулировать задачи, они эмоционально подходят к постановкам, и когда я спросил почему вот так, он ответил мне «по кочану», я пошел к своему худруку и попросил, чтобы играл кто-нибудь другой. В итоге Дядю Ваню играл мой однокурсник Сережа и я по доброте душевной подсунил ему статью отца. Сережка прочитал, мало того, он еще дал прочитать нашему педагогу, а потом вернул мне статью со словами «Нам показалось, что все это банально».

Во мне, несмотря на то, что я тоже мог относиться к этой статье по-своему, это высказывание про статью папы вызвало отрицательную реакцию.

Это к вопросу о том, что у него был классический подход.

Б. О.: Так получается, что вы читали что-то из его работ? Потому что это ведь не обязательно должно было быть.

С. Н.: Что-то я читал. Но он никогда ничего своего не давал-«вот возьми-ка, почитай». Никогда такого не было. Только если у меня возникал какой-то вопрос, он на него отвечал и, если что, присовокуплял к этому какой-то текст, свой, или доставал какую-то книгу, где у него было отчеркнуто или заложено. Сам никогда мне не говорил: «вот, возьми-ка, приведи свои мозги в порядок».

Б. О.: Это очень интересно. Потому что мы же представляем себе, как были устроены его отношения с учениками. Не то чтобы нам доступна информация обо всех поколениях, старшие коллеги все-таки не очень активно идут на контакт-я столкнулся с тем, что хотел бы взять интервью у разных людей, но у меня не получается.

С. Н.: А почему?

Б. О.: Не знаю. Думаю, тут нет одной причины. Во-первых, кто-то может быть не согласен, потому что моя репутация неоднозначна. В академическом сообществе, как в разных других замкнутых сообществах бывают разные локальные конфликты. Одно дело, что я пишу в своих научных работах, другое, как коллеги ко мне относятся как к человеку. Может быть, я виноват.

С другой стороны, для кого-то это может быть не настолько важно — дело прошедшее, прошлая жизнь, был и ушел. Ну а кто-то, может быть, не хочет что-то раскрывать. Может быть, ему кажется, что это часть его личной истории, которая больше никого не касается.

Нам удалось получить некоторые тексты личных воспоминаний. Может быть, интервью проще, поэтому я сейчас обычно прошу об интервью, нежели о том, чтобы написать текст, разным людям бывает сложнее писать, чем говорить. Но все равно кто-то просит отсрочки на полгода, потому-то полтора часа на интервью не может выгадать, кто-то просто перестает отвечать на письма.

В общем, с этим не все так просто. Поэтому мы восстанавливаем всю историю по крупицам. Конечно, время, когда есть дневники-проще, потому что там рассказано многое. Но в 71 году дневники прекращаются и дальше не очень понятно, что происходит. Но мы сами, я, Сергей Шаулов, мы были в каком-то контакте с Ромэном Гафановичем, какое-то время мы успели у него поучиться, именно научной работе, не просто в аудитории, когда он приходил и что-то рассказывал, принимал экзамен потом. А мы, действительно, приходили к нему домой, обсуждали какие-то наши научные тексты, уже тогда существовавшие, курсовые работы. И первое и главное, на что мы обращали внимание — он давал полную свободу. Эта свобода такая, что при других обстоятельствах, в другом случае, ее можно было бы перепутать с равнодушием. Но это не было равнодушием, потому что, все-таки, если человек приглашает тебя к себе домой и с тобой разговаривает, это точно не равнодушие. Но при этом это не авторитарное управление, не тот случай, когда тебе говорят — обязательно нужно сделать так, так и так, а если не сделаешь, не знаю, я обижусь. Нет. До некоторого времени я мог выбирать любую тему, которой хотел заниматься, и это поощрялось. И никаких укоров со стороны Ромэна Гафановича не было.

Это очень интересно, что с одной стороны мы видим, как Ромэн Гафанович обращался с учениками, а он и во мне и в Сергее Шаулове видел учеников, он даже явно говорил, кто и в какой последовательности пойдет у него в аспирантуру. В общем, мы понимаем, как это все происходило. И любопытно сравнить с тем, как это было в каком-то другом диапазоне. Получается, что и семейный воспитатель Назиров тоже был таким?

С. Н.: Один момент сейчас вспомнил. Он никогда не подсовывал Достоевского, хотя я с детства знал, что он сидит над Достоевским. Впервые он дал мне Достоевского, когда я лежал в больнице, это было «Село Степанчиково», это было первое, что он мне дал. Не помню, то ли это сам потом сказал, что это было самое простое, легкое и смешное, потому что я, естественно, дико смеялся. И это был такой мягкий вход. После этого он мне однажды помогал писать сочинение по «Преступлению и наказанию». Ну как помогал, я написал,

он посмотрел, не корректировал, ничего, просто абзац один написал и все, я включил его в сочинение. В этом смысле все было мягко и без всякого нажима.

Б. О.: Это других сочинений тоже касалось?

С. Н.: Нет, нет. По моему, я потом даже бросил и больше ничего ему не показывал. Я писал сочинения как художественную литературу. Я писал тоже какие-то рассказы, и он периодически их читал, я не помню его реакцию сейчас. Естественно, когда ты видишь, что у тебя всю жизнь перед глазами писанина, а это же творчество — писанина в хорошем смысле — ты тоже творчески включаешься, хочешь подражать этому процессу. Поэтому я себе иногда позволял и позволяю сейчас, уже со сценариями. Но этот навык, если он был передан, то был передан без всякого нажима с его стороны, без всякого требования.

Б. О.: Есть трагическая страница в истории вашей семьи: арест и расстрел Гаффана Шамгуновича Назирова. Как-то про это говорили дома? Или не принято было говорить?

С. Н.: Очень скупо. Мне кажется, Дина об этом говорила больше, чаще, отец нет. Понятно, что обо всем этом знали, и еще до перестройки имя Сталина в семье употреблялось исключительно в отрицательном смысле. У меня была история, в начальной школе, в первых классах. У нас была классной руководительницей Елена Павловна, фронтовичка. На уроке мы разбирали про Кирова. А я и сказал: «А Кирова убил Сталин». Не помню сейчас точно, но, по-моему, Елена Павловна имела разговор с отцом, но никакого взыскания, естественно, дома ко мне применено не было.

Б. О.: Про Сталина — это очень сложная история. Потому что Ромэн Гафанович был, как и любой советский человек в то время, до самой смерти Сталина, вполне приверженцем сталинизма. Потом начал осознавать. Ну и кажется, что к финалу Советского союза он совсем разочаровался в советском. И как он переставал быть сталинистом (в хорошем смысле, естественно). По дневникам видно, как он становился человеком Оттепели — а он, кажется, очень принял оттепель, был с ней в резонансе. Причем по мере разочарования в Хрущеве всех — он и сам разочаровался в Хрущеве. Когда пришел Брежнев, и к нему относились немножко настороженно, но скорее положительно, все, — так и Ромэн Гафанович к этому относился. И он в хорошем смысле был как все, он все это переживал, ему не было все равно. Но как он в последующие годы разочаровался в советском — этого по дневникам не видно. А чувствовалось ли это в каком то личном общении, в семье?

С. Н.: Я не помню, как это происходило. Это был 84–85 год. Я не помню каких-то гневных проклятий в адрес советской власти. В принципе, мне кажется, разочарование пришло да, давно. И ничего нового перестройка в этом смысле не принесла.

Когда умер Брежнев, у меня одноклассник был, его мама была завучем. Известие о смерти Брежнева, естественно, прошло по всем каналам. Ко мне на перемене подошел одноклассник и сказал: «Радуйся, Брежнев умер». Это значит только одно — то, что говорил папа,

то, что я говорил в школе — никого за это не сажали. И 85-й, перестройка — это был последний гвоздь, и ничего кардинального в этом смысле в отношении отца ко всем этим делам не произошло.

Б. О.: То есть вы уже застали ситуацию, когда...

С. Н.: Когда все были к этому готовы психологически, говорили — советская власть ерунда и пошли вы все! Это сейчас мы понимаем, что вместе в партийной системой было разрушено целое государство, но это другой взгляд.

Я 31 декабря был на Красной площади, когда спускали флаг Советского союза. Это был 91 год. Видел пьяную девушку, которая валялась перед мавзолеем и говорила: «Дедушка Ленин, прости!» На нее все смотрели как на идиотку. Спустя годы мы поняли, что вместе с водой мы выплеснули и ребенка.

Но что касается всей этой коммунистической идеологии, почва была подготовлена абсолютно, никакого переворота глобального в 85 году не произошло.

Б. О.: То есть все это произошло когда-то раньше?

С. Н.: Конечно.

Б. О.: А вообще для Ромэна Гафановича в пятидесятые-шестидесятые политика значила очень много. Он читал газеты. Как любой, наверное, советский человек, но он делал конспекты политических событий. По дневникам очень хорошо можно проследить все, что происходило в мире. Причем не только выступление первых лиц государства, нет. В Тунисе война, в Алжире беспокойно, во Франции на выборах победили социалисты — все это он очень прилежно записывал, за всем следил.

С. Н.: Комментировал.

Б. О.: Комментировал довольно скупой, не аналитически, а, так сказать, «хорошо-плохо», «будем смотреть дальше».

С. Н.: Да-да-да, я что-то читал про Британию.

Б. О.: И я так понимаю, что в восьмидесятые годы уже нет, уже ничего такого, в семье это не обсуждается, все это в стороне. А как в семье говорили про репрессии, как вспоминали, что-то проскальзывало в разговорах?

С. Н.: Ну, то что деда расстреляли, это было однозначно.

Б. О.: А остальное не важно.

С. Н.: Ну да — а дальше что.

Б. О.: Ромэн Гафанович его немного помнил, совсем немного. У него сохранилось воспоминание о том, как они на служебной машине ездили куда-то на Дёму, на речку. Это в дневнике есть такое упоминание. В дневнике есть запись о том, когда пришла реабилитация. Эмоций по этому поводу почти нет.

С. Н.: Он был сдержанный человек.

Б. О.: Ну, не всегда и не во всем. Действительно, то, что касается личной жизни, в основном да. Он, мне кажется, ярко и активно реагировал на какую-

то несправедливость, и его задевали какие-то сугубо культурные вещи. И вопрос про Гамлета — он тоже неслучаен. Ну, бывало, что в аудитории он раздражался, на кого-то мог и накричать. Я был свидетелем этого. Другое дело, что может быть это был педагогический прием, например, чтобы сейчас всех приструнить, чтобы потом не шалили.

С. Н.: Помню, был такой рассказ, он сам рассказывал, как он выгнал студентку с экзамена. Он пришел с экзамена и тут же рассказал, как анекдот. Значит, берет какая-то девушка, блондинка по нашим временам, билет с вопросом про «Идиота». Он ей: «Садитесь». Она садится и говорит: «Раскольников...» — «До свидания!»

А насчет того, когда он возбуждался. Был у нас друг семьи, дядя Лёня Гоголев. Не помню, как они были связаны, с детства росли где-то поблизости. Дядя Лёня Гоголев был такой вахтовик, буровик, геолог, который ходил в унтах, в зипуне, но при этом был человек тонкой душевной организации, тонко любивший литературу, поэзию, и приходивший всегда к нам в гости поболтать. И это было очень часто, он приходил к отцу. Обычно они начинали говорить тихо-мирно, потом у них начинался спор, и они разругивались так, что орали друг на друга, не матом, конечно. Ругались страшно, дядя Лёня уходил хлопал дверью. Мама выбегала: «Ну что ж такое вы опять творите?» То есть приходил друг детства, начиналось все за здоровье, а кончалось совершенно полной руганью. Причем руганью на темы, касающиеся литературы. И это было постоянно.

Б. О.: То есть страсть была?

С. Н.: Да, вот здесь он заводился, да. Здесь он заводился страшно, это правда.

И дядя Лёня он был с золотыми зубами, у него и наколки были, то есть это был такой персонаж из семидесятых годов, в зипуне, но при этом читавший все. И ведущий с отцом диалог в этом смысле на равных. И поэтому они не находили точек соприкосновения, потому что им нужно было обязательно дойти до точки. Может это и было их целью на самом деле!

Б. О.: А про закрытость — она внутри семьи тоже чувствовалась?

С. Н.: Ну да, все-таки была в нем некая законсервированность.

Б. О.: А были какие-то слабые точки, может быть, вы вспомните, где она прорывалась? Видно, что человек закрыт, а, допустим, приходит кто-нибудь, типа старого друга семьи, или какая-то тема вдруг возникает и тут вдруг видно, что раскрывается человек?

С. Н.: Когда у нас были кошки, он ходил в какой-то старой кофте, а кошки же любят откусывать вот эти старые комочки шерсти, кошка, не помню уже, которая из них, откусывала эти комочки, и он ходил весь полный умиления: «Ой, ты моя, сю-сю-сю!» Это было трогательно, да. Но на самом деле в семье вот такой вот трогательности не было.

Б. О.: Он довольно давно написал докторскую диссертацию, еще в начале восьмидесятых годов. И не защищал ее, скорее всего, как мы видим в архиве по разным документам, по каким-то собственным соображениям. Не то чтобы

ему кто-то не давал. **И кажется, что когда это все-таки произошло в девяносто четвертом году, было результатом некоторого внешнего давления.**

С. Н.: Мама ему постоянно клевала макушку.

Б. О.: Когда видели этот процесс письма, вы не разделяли это, «папа пишет», а что там, художественное или нет. . .

С. Н.: Нет, это не было понятно.

Б. О.: А то, что в архиве есть множество художественных произведений, для вас неудивительно?

С. Н.: Нет, на самом деле, удивительно. Когда мы уничтожали «Красного Бонапарта», я понял, что это проза, тогда меня это удивило, потому что я был в полной уверенности, что он занимается исключительно литературоведением.

Ещё Ромэн Гафанович любил петь. Когда выпьет.

Б. О.: Правда, у него не очень получалось.

С. Н.: Нет, какие-то вещи у него получались. Что-то такое он залихватское пел, ковбойское. «Ай-ай-ай, в глазах туман, кружится голова» — тоже из его самых любимых. Вот эти две самые запомнившиеся в его репертуаре песни. Иногда он рассказывал очень дурацкие анекдоты, какие-то детские. Я не помню дословно, но несмешные. Но сам при этом был доволен.

Б. О.: Много ли он рассказывали интересного такого, что не имело, так сказать, прагматической пользы? То есть, можно было и не рассказывать.

С. Н.: Да, это может быть.

Б. О.: Мы всегда считали, когда общались с Ромэном Гафановичем, что такой типичный гуманитарий, и разные науки, тяготеющие точным, его не очень интересуют. А по архиву видно, что не совсем так. Все-таки его интересовали лингвистика какая-нибудь, которая совсем не гуманитарная наука, и математика, но в такой специфической манере.

С. Н.: Да. С точки зрения интересного исторического факта, связанного с чем-то. Например, что потрясающий закон Бойля-Мариотта открыт тогда, когда, например, ему на голову упали часы. Грубо говоря, когда это тоже превращается в некий анекдот.

Б. О.: А Ромэн Гафанович был скорее веселый или серьезный человек?

С. Н.: Серьезный. Мне кажется, серьезным. Нет, когда были застолья, он, наверное, расслаблялся, раскрывался, и душа начинала у него подпевать. Но в общем, он все равно, мне кажется, был закрытым.

Б. О.: То есть, застолья — это было такое специальное время, когда он мог себе позволить быть. . .

С. Н.: Ну да. Я помню, что он выпивал рюмку чего-нибудь спиртного, и остатки, капли, выливал мне на голову. Не в смысле издевался, а чтобы я лучше рос.

Б. О.: Он знал языки. Не пытался он вас учить испанскому, немецкому, польскому?

С. Н.: Он, может быть, только пытался научить меня рисовать. У него же много рисунков. Профили Пушкина, автопортрет. Мы с ним... не занимались, нельзя назвать это занятием. Это были какие-то моменты отдыха, когда он не то чтобы приходил ко мне — вот, давай порисуем, — такого вообще не было, никакой дидактики, никакого назидания я не помню.

Б. О.: Что было по воскресеньям? Понятно, что в будний день Ромэн Гафанович поздно просыпался, шел преподавать, возвращался, потом снова спал, вечером, наверное, было какое-то семейное время, потом была ночь, когда он снова работал.

С. Н.: У меня был однокурсник Саша, и они с его отцом были прям вот не разлей вода. И мы как-то разговаривали, я ему говорю — вот как ты с отцом, а он мне — а ты как же? Тогда он меня спрашивает — а что ты вместе с ним делаешь? И я понял, что у меня нет ответа, я с ним вместе ничего не делаю. Иногда он брал меня с собой, мы шли на лодочную станцию «Юность», он греб, мы доплывали до пляжа за мостом, там купались и спускались обратно. Но это было не так часто. Наверное, из всех воспоминаний детства это было единственное дело, которое мы делали вместе.

Дело в том, что, может быть, он не знал, что делать со мной или с детьми вообще. Я сейчас совершенно отстраненно об этом рассуждаю. Может быть, он был настолько погружен в литературу, что весь окружающий мир для него был в общем-то какой-то другой реальностью, не столь значимой, не столь интересной. Дети — да, мы были его сыновья, но это было как «так должно быть».

Б. О.: А печатная машинка стучала?

С. Н.: Стучала. У него была какая-то старая машинка, черная такая. Потом появилась электрическая, либо он ее брал.

Б. О.: Говорил он дома о том, что происходит на работе?

С. Н.: Было ощущение, что кто-то там ему не благоволит совершенно. Не то чтобы кто-то ему постоянно вставляет палки в колеса, но такое ощущение было. Может, у него была мания преследования? Не знаю.

Б. О.: Ну, скорее, неуживчивость. В газете ведь тоже было так, был Гальперин, который все «делал не так».

С. Н.: Какие-то разговоры были. Не то чтобы каждый вечер — вот, меня зажимают, но эту тему я помню.

Я точно помню — за диссертацию боролась мама. Это она постоянно об этом говорила, твердила, висела у отца на шее, заставляла его.

Б. О.: А он как-то отвечал, говорил, почему нет? Или просто отмалчивался?

С. Н.: Не помню. Ощущение, что весь его ответ был — мне это не надо. Но что за этим крылось, я даже не берусь судить.

Б. О.: Диссертация действительно давала ощутимые бонусы в советское время. Докторская степень была огромным шагом вперед в смысле материальной

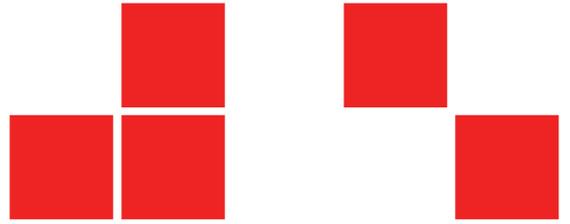
обеспеченности. Собственно, злая ирония в том, что, когда он это сделал, это было уже не так важно.

Это очень здорово, что вы вспомнили и про «Красного Бонапарта», и то, что был такой эпизод в восьмидесятых, когда было уничтожено какое-то значительное количество бумаг. А какой там объем был, не помните?

С. Н.: Не гигантский. Что-то он, по-моему, пытался в раковине жечь. Но в основном мы это дело рвали и выбрасывали в мусорное ведро.

Б. О.: То есть это был объем ведра примерно? Или меньше? Папка, например, коробка? Примерно, не то чтобы требуется аптекарская точность.

С. Н.: Нет, я не помню точно. Но если он позвал меня на помощь, то, значит, ему эта помощь была нужна. Не думаю, что он позвал меня на помощь, чтобы я увидел, как папа справляется с трудом многих лет и чтобы я вклинился — папа, что ты делаешь? Объем я не вспомню.



Исследования

Узкое понятие стиля — система словесно-поэтических средств, широкое — системное единство формальных компонентов.

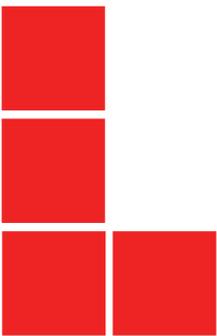
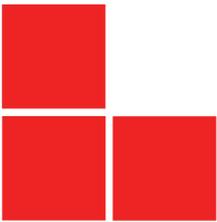
Композиция — сцепление отдельных частей произведения в единое целое. Типы композиционных структур:

1) линейная, 2) параллельная, 3) ступенчатая, 4) рамочная (кольцевая), 5) перевернутая (хронологическая перестановка).

Романтизм выражает восторженное состояние души перед сверхличными идеями, стремление к идеалу.

Любимый топос миннезингеров „очи сердца“ происходит от схоластической энциклопедии, а ещё дальше — от Платона и неоплатоников.

Соврем. наука считает, что более, чем смысл слов, информацию несут интонация и ещё более — язык жестов, мимика и поза.



Исследования

Роман «Звезда и совесть»: незавершенность как прием*

А. Р. Зарипов

Башкирский государственный университет

Художественное произведение и его текст не находятся в отношениях эквивалентности, о чем писал еще М. М. Бахтин: «Текст — печатный, написанный или устный — записанный — не равняется всему произведению (или «эстетическому объекту»). В произведение входит и необходимый внетекстовый контекст его»¹. Об отношении текста к произведению, как части к целому говорил Ю. М. Лотман, называя текст одним из компонентов художественного произведения.² Предполагая некоторую внетекстовую реальность, стоящую за текстом, мы можем перейти к рассмотрению проблемы незавершенности без формальных ограничений, накладываемых лингвистикой текста. Так, И. Р. Гальперин в своем определении текста ставит категорию завершенности на одно из первых мест: «Текст — это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа...»³ Исследователь далее не расшифровывает, не уточняет данное свойство текста, сводя его таким образом к нормативному пониманию того, как обычно создаются тексты. Подобная точка зрения пресуппозитивно предполагает, что принадлежность художественной литературы к одному из пяти традиционно выделяемых в лингвистике функциональных стилей, а отнюдь не различие текстов по типу «художественный» и «нехудожественный». Тогда можно говорить о незавершенности, деформированности текста «Звезды и совести»: перед нами текст, не приведенный к окончательной редакции, изобилующий авторскими исправлениями и замечаниями о необходимых изменениях, содержащий лакуны (пропуск глав с IX по XIII), с нереализованной авторской установкой (что можно понять из заметок к роману), обрывающийся до завершения евангельского сюжета.

Тем не менее, тот факт, что роман не был напечатан или даже сам факт сокрытия его существования (насколько можно судить по имеющимся отзывам, он оставался до вскрытия архива тайной даже для ближайшего круга Назирова) мы не можем считать аргументом

* Публикация выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 16-14-02008.

¹ Бахтин М. М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986. С. 391.

² Лотман Ю. М. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб., 1998. С. 283–284.

³ Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 2006. С. 18.

в пользу незавершенности романа. Литература XX века знает немало случаев авторского «скрывания» текстов по тем или иным причинам. Хрестоматийным примером здесь может служить творчество Ф. Кафки, с наследием которого в полной мере читатель познакомился лишь после его смерти, благодаря нарушению последней воли умершего его душеприказчиком и другом Максом Бродом⁴. В случае с назировским архивом исследователям был предоставлен выбор: печатать или не печатать художественные произведения известного достоевсковеда, подвергнуть пересмотру образ Назирова и сам характер его деятельности или нет. Заметим, что единого мнения по этому вопросу, несмотря на предпринятые публикации, не сложилось⁵.

В литературоведении существует несколько подходов к проблеме незавершенности. Так, Е. В. Абрамовских в своих работах разводит понятия «незаконченность» и «незавершенность»: «незаконченность» трактуется как открытость текстовой структуры (возникшая вследствие технических или биографических причин, иногда — как художественный прием), а «незавершенность» как «особый вариант “архитектонической формы” целого, или формы эстетического объекта»¹.

Подобная трактовка незавершенности во многом отражает влияние известного труда У. Эко «Открытое произведение», описывающего феномен незавершенности в том числе как характерную черту литературного процесса XX века. Отметим, что Назиров в заметках к роману писал о «кафкадждкойсизации метода»², что также может привести к выводу о сознательной авторской установке на незавершенность. Эта мысль подкрепляется тем фактом, что ни одно из найденных в архиве к настоящему времени крупное произведение назировской прозы не было доведено автором до стадии формальной завершенности. Были ли тексты принципиально незавершенными, либо автор ввиду каких-то иных (психологических, биографических и др.) причин не смог закончить над ними работу? Этот вопрос требует дальнейшего исследования, но вряд ли сможет получить окончательное разрешение. Скрытность Назирова, отсутствие дневниковых записей об этой работе (дневник к тому времени уже был «закрыт») приводят к тому, что текст «Звезды и совести» дается нам, по сути, в очищенном от авторского биографического контекста виде.

Не будем категорически утверждать о принадлежности романа к модернизму или к постмодернизму лишь с целью обосновать особенности формы влиянием той или иной художественной системы. Незавершенность романа о Христе ближе к тому, что Ю. М. Лотман описывал как «минус-прием», когда «незавершенность текста становится средством художественной активизации его структуры»: «Структура художественного языка может нарушаться в тексте путем неполной реализации — имитации незавершенности, оборванности, отрывочности (пропущенные строфы «Евгения Онегина»)»³. В качестве «минус-приема»

⁴Брод М. О Франце Кафке // О Франце Кафке. СПб., 2000. С. 512

⁵Власкин А. П. Сложное впечатление // Назировский архив. 2016. № 1. С. 180

¹Абрамовских Е. В. Дефиниция понятий незаконченного и незавершенного произведения // Новый филологический вестник. 2007. № 2. С. 75.

²Назиров Р. Г. Заметки к роману «Звезда и совесть» // Назировский архив. 2016. № 1. С. 100.

³Лотман Ю. М. Структура художественного текста. М., 1970. С. 363.

в тексте романа выступают пропуски глав и открытый финал. И то, и другое легко восполнимо, так как отсылает читателя к общекультурному (по крайней мере, для Европы) знанию — евангельской истории. Библейский претекст в той или иной форме присутствует в сознании большинства читателей, и именно сравнение с ним, мысленное продолжение сюжета романа до канонической развязки христианского мифа и является работой сознания читателя после прочтения романа. Назиров своим романом вносит определенные коррективы в вечный сюжет: «зазор» между художественной интерпретацией и традицией провоцирует воспринимающее сознание на диалог (или полемику) с текстом, стимулирует смыслопорождающую активность.

О. Пиралишвили, вводя термин «акт художественного восприятия», показывает, как текст может стать завершенным в ходе рецепции: воспринимающее сознание выступает соавтором, «достаивает» недостающие компоненты¹. Примером тому может служить стенограмма обсуждения «Звезды и совести»², в особенности развернутые реплики уфимского писателя И. В. Савельева, доказывающие самим фактом своего существования и своим содержанием способность текста вызвать целостное эстетическое впечатление. В частности, современный прозаик указывает на наличие авантюрного сюжета в романе, на который «замыленный» взгляд исследователя обращается в последнюю очередь, заслоняемый сюжетной линией Йешуа. Это свидетельствует о том, что произведение может быть воспринято не только как художественная реконструкция биографии Христа, но как роман со своей галереей персонажей и рядом сюжетных перипетий.

Следовательно, мы можем говорить о незавершенности романа как особом художественном модусе. При этом текст является, с точки зрения рецепции, законченным, целостным, в нем «есть целостное восприятие мира, есть всеохватывающая идея»³. В только что процитированном исследовании В. А. Сапогова речь идет о взаимозависимости идейной целостности и рецептивной завершенности.

В свою очередь С. Кржижановский в своей «Поэтике заглавий» пишет об исключительной роли заглавий в тексте, их определяющем значении для всего текста. Применяя его предлагаемую им схематическую классификацию заглавий, можно обозначить «Звезду и совесть» как название, содержащее два субъекта (звезда и совесть соответственно) и не выраженный формально предикат, который, однако, может быть описан как носитель реляционной связи между субъектами. Исследователь описывает подобный тип заглавий на примере «Отцов и детей» И. С. Тургенева следующим образом: «Лишь по прочтении текста, озаглавленного «Отцы и дети», мы понимаем противопоставительный смысл союза «и»: отцы не дети; порождающие всегда чужды порожденным»⁴. Пусть интерпретация Кржижанов-

¹Пиралишвили О. Проблемы «нон-финито» в искусстве. Тбилиси, 1982.

²Назировский архив. 2016. № 1. С. 194–218.

³Сапогов В. А. «Незаконченные произведения»: К проблеме целостности художественного текста // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа в школьном и вузовском изучении литературы: Тезисы докладов республиканской научной конференции (12–14 октября). Донецк, 1977. С. 15.

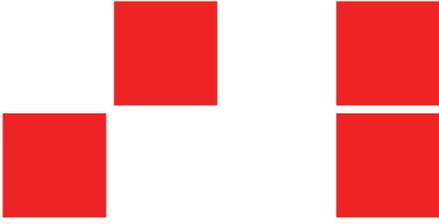
⁴Кржижановский С. Поэтика заглавий // Кржижановский С. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. СПб., 2006. С. 31.

ским тургеневского романа и несколько субъективна и не учитывает всего его смыслового богатства, использование подобной логики вполне уместно и по отношению к роману Назирова. Если переводить смысл названия на язык философских проблем, то перед нами проблема предназначения и свободы выбора. Ее раскрытие происходит на разных уровнях:

- в философском диалоге Аарона с Йешуа, когда звездочет рассказывает о знамениях пришествия Мессии, а главный герой произносит «Совесьть превыше судьбы» и т. д.;
- в сюжетной логике произведения на нее «работает» концовка романа (казнь Иоханана, решение Йешуа «занять» его место),
- в зафиксированных авторских ремарках к роману об осознании Йешуа себя Мессией под влиянием сложившейся исторической ситуации¹ и в том, что художественного выражения этих планов все-таки не появилось.

Финальная проблема романа не решена, как не решена она и в романе Тургенева, несмотря на мнение С. Кржижановского. Идеиная целостность не подразумевает неизменных ответов на все вопросы, которые может задать читатель тексту, однако определяет саму возможность эти вопросы задавать. В случае со «Звездой и совести» как раз формальная незавершенность романа эту возможность расширяет: доведенный до сюжетного конца (вполне понятного при обращении к евангельскому сюжету) роман утратил бы значительную часть своей рецептивной активности.

¹Назирова Р. Г. Заметки к роману «Звезда и совесьть». С. 160.



Мнение

Однажды решили подшутить над Жоржем Кювье. Кювье в его окно просунулась голова с рогами и заревела:

— Сейчас я тебя съем!

— Нет, не съешь, — сочно ответил Кювье, — у тебя рога, значит ты травоядное.

Сила обобщения — величайшая из сил в науке. Любые частные аргументы бесполезны, если противоречат обобщающему научному закону.



Х Принцип Хайзенберга: исследование явления изменяет сущность и конечный результат этого явления. Это относится и к лит-ведению: напр., в России более всего исследовали Пушкина, в результате он наиболее искажен, за деревьями не видно леса, перестали понимать и антипушкинизм русского реализма, и почему всё-таки весь лит-ра XIX в. базируется на Пушкине. Он задавал меру, он дал старт, вошёл в хаос некую стройность, а уж потом её можно перестраивать как угодно, тогда как хаос перестраивать нельзя. Всё равно будет хаос. Пушкин — организатор национального худож. строя

Мнение

Интервью с С. Ю. Неклюдовым

20 января 2016 года

Сергей Юрьевич Неклюдов, доктор филологических наук, профессор, научный руководитель Центра типологии и семиотики фольклора РГГУ, главный научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований ИОН РАНХиГС.

Беседовал главный редактор журнала «Назирковский архив» Борис Орехов.

Борис Орехов: Сергей Юрьевич, как вы видите контекст фольклорных и мифологических работ Р. Г. Назирова? Они провинциальны и не представляют интереса или они могли бы быть интересны в своё время, но уже не сейчас? Может быть, они имеют какие-то перспективы, если прочесть их современным взглядом?

Сергей Неклюдов: Моё общее впечатление от работ Назирова было достаточно ярким, хотя это скорее относится к книге «О мифологии и литературе, или Преодоление смерти: Статьи и исследования разных лет» (2010). Книга «Становление мифов и их историческая жизнь» (2014) вызвала у меня гораздо меньше интереса. Может быть, в связи с тем, что я ожидал от неё немного другого.

Никакой провинциальности я в них не увидел, там присутствует некоторый перекокс в сторону башкирского материала, но он неизбежен и естественен — это просто наиболее глубоко освоенный автором материал. У меня, скажем, есть перекокс в направлении монгольских традиций, о чём тут говорить? В трудах Назирова я провинциальности не уловил, и это было крайне приятно, поскольку в нашей стране, культурно и интеллектуально весьма неравномерной, когда всё более-менее значительное забирают себе две столицы, ничего не оставляя за своими пределами, часто трудно бывает, оставаясь дома, подняться до какого-то «столичного» уровня (откуда, видимо, проистекает и далеко не всегда оправданный снобизм в отношении к «провинциальным» исследованиям).

Теперь о том, что для меня было наиболее привлекательным, что заинтересовало в первую очередь. В отличие от многих частных разысканий («частных» не в плане исследования одной национальной традиции, а в плане анализа отдельно взятого содержательного элемента, топоса, мотива, образа), исследования Назирова всегда включены в широкий и весьма корректный компаративный контекст, без которого подобного рода рассмотрения делать

вообще невозможно. Пожалуй, это то, что фольклористика может привнести в филологические занятия словесностью, поскольку взгляд фольклориста всегда обращается не к одному феномену, а к кругу текстов, без которого ему трудно или даже невозможно работать. Ещё раз повторю: эти сопоставления чрезвычайно корректны (странно было бы по отношению к такому солидному и уважаемому учёному употреблять высокомерное определение «грамотно»). Склонность к компаративным упражнениям характерна для многих авторов, но лишь немногие умеют работать с чужим материалом, большинство же не понимает, как это делается, не умеет ввести анализируемый факт в сравнительный контекст и т.д..

Почему так происходит? Потому что для подобных занятий нужно иметь стоящую за ними некую «большую систему», воспитать в себе парадигмальное мышление, если угодно. Одно из свойств современного интеллектуального космоса — страх перед «большими системами», отход от них как реакция на особо агрессивные учения (например, марксистские или психоаналитические), в том числе навязываемые директивно, как это происходило в нашей стране. На моей памяти наиболее яркое выражение подобной тенденции — постструктуралистская реакция на структурализм, на его универсалистские претензии. При всей объяснимости и справедливости подобной реакции, мне кажется, что отсутствие таких «больших систем», которое всегда имеет мировоззренческий характер, эпистемологически ограничивает сам опыт научного поиска, обедняет любые результаты исследования, сколь бы частными, лишенными генерализующих претензий они ни были.

Отсюда и ответ на то, почему меня несколько разочаровала вторая книга. Я подумал: может быть, автор не стал печатать эту книгу, потому что у него самого были какие-то сомнения в успешности этого построения? Получается так, что пока общая система, парадигмальная модель, присутствует лишь как некое условие для более конкретных разысканий, она работает. Когда же она излагается как конечный продукт, возникают проблемы. Я это хорошо понимаю и психологически, и когнитивно, и эпистемологически.

Я бы не сказал, что у Назирова это провинциально, просто в самой его системности есть некоторая старомодность. Речь в первую очередь должна идти об эволюционизме — с матриархатом и другими подобными ему научными концептами. Я вовсе не против идей эволюции, напротив, я всячески «за», но в XX веке они довольно сильно себя скомпрометировали, выработав излишне жёсткие схемы, которые по мере расширения наших научных знаний оказывались мало соответствующими реальности (в каком-то смысле дарвиновско-спенсеровский эволюционизм был осторожнее). То, что конкретный факт может не соответствовать схеме, это ещё полбеда. Хуже то, что она просто перестаёт работать, провоцируя неточные истолкования этих конкретностей. О другом обстоятельстве я подумал и в связи с первой книгой Назирова, но задним числом. Встал вопрос, который вернул меня обратно, к статьям о конкретных темах, однако сформулировался он по прочтении второй, обобщающей книги, которая, видимо, была задумана как главная. На каждом шагу у меня возникает масса вопросов, я бы сказал, процедурного характера. Многие вещи я готов принять как

инерционные: скажем, одно выводится из другого потому что так принято, мы к этому привыкли. Но ведь ждёшь чего-то другого.

Вы знаете, поразительное совпадение: его интерес к темам, которые он рассматривает в своих статьях, во многом совпадает с моими интересами. О тех же вещах я думал, писал и ещё собираюсь вернуться, если успею.

Я бы сказал, что по генеральной идее я со всем согласен. Но ради этой генеральной идеи такой огород городить, пожалуй, было необязательно.

Б. О.: Может быть, вы приведёте какие-то примеры того, где эта процедура выглядит недостаточно эксплицированной?

С. Н.: Да почти на каждом шагу. У меня, скажем, есть большие проблемы с интерпретацией археологических материалов, например, «палеолитических Венер» как воплощения «Великой Матери» (особенно в аналитической психологии и феминистической критике), что и вообще спорно, а уж после трудов Леруа-Гурана совсем сомнительно. Мы толкуем древние образы, исходя из нашего нынешнего культурно-психологического опыта, приписывая свои значения мёртвым вещам и давно замолкнувшим сообществам, которые неизвестно, что чувствовали, неизвестно, что думали, неизвестно, какие вкладывали смыслы в эти вещи. В карикатурном виде подобное весьма свойственно фрейдистской антропологии, когда сексуальный и отчасти социальный опыт буржуазной семьи конца XIX века проецируется на глубокую архаику, на «первобытность». Мне кажется слишком смелым вводить в подобное рассмотрение неандертальцев. Интереснее более позитивистские подходы вроде тех осторожных аналогий, которые Конрад Лоренц, например, отмечал между ритуальной деятельностью человека и ритуалами у животных.

В книге говорится о мифе, который нигде никак не определён, а хотелось бы иметь какое-то его рабочее определение как инструмент анализа. Многого я не понимаю чисто методологически, не понимаю, как одно выводится из другого. Задним числом, как я сказал, у меня появились те же претензии и к статьям. Временами возникает вопрос: а о какой сущности идёт речь? Сами сопоставления — корректные, с чем-то я могу согласиться, с чем-то нет, но не в этом дело. Ну, вот есть у нас конкретный текст, русская сказка о кощее, у которого смерть в яйце. Рассматривая генезис мотива, мы уходим от данного текста, от его актуального прочтения, которое может быть локализовано во времени и иметь конкретную историко-культурную и социальную позицию. Происходит как бы непрерывное падение в какую-то семантическую бездну, когда непонятно, какой реальности принадлежит та или иная фаза реконструкции.

Б. О.: Мне кажется, что здесь Назиров не одинок. Это не свойство индивидуального стиля, но это характерно и для стиля вполне уважаемых авторов.

С. Н.: Ну, и он весьма уважаемый автор. Я не хочу сказать, что в данном случае мои претензии к нему носят сугубо индивидуальный характер, что у других исследователей дело обстоит иначе. Нет, очень у многих все ровно так же. Включая и меня. . .

Я, как вы знаете, являюсь учеником Елеазара Моисеевича Мелетинского, хотя у меня есть ряд вопросов к его научной концепции, а она у него очень стройная, последовательная, продуманная. Не меньшее количество вопросов у меня и к Владимиру Яковлевичу Проппу, другому моему учителю, скорее заочному (личное знакомство с ним не состоялось в ученичестве). Больше всего к «Историческим корням», но и к некоторым другим работам.

Речь сейчас, однако, не об этом. И Пропп, и Мелетинский были творцами своих теоретико-методологических систем, кое в чём совпадающих, кое в чём расходящихся. Оба были фольклористами самого широкого плана и работали в эволюционистской парадигме (если не считать предструктуралистской «Морфологии сказки»). А в Питере был другой замечательный фольклорист, Борис Николаевич Путилов, тоже мне хорошо знакомый, оппонент на защите обеих моих диссертаций. Так вот, у него была своя «система», никак не противоречившая «системе» Елеазара Моисеевича, как бы параллельная ей. «Параллельность» не предполагала тождества, обе «системы», базировавшиеся на несколько разном материале, выстраивались совершенно независимо, уважительно корреспондируя друг с другом, но ни в чем не друг друга не повторяя. У меня же временами появлялось странное ощущение: эти две параллельные линии мне не обязательны, избыточны, что ли, хватит и одной. Я думаю, у моих питерских друзей и коллег, многие из которых учились у Бориса Николаевича, были примерно те же ощущения, но с другой стороны: они скорее «путиловцы», причем у нас нет с ними особых расхождений.

Так вот, с этой точки зрения система Назирова параллельна многим другим системам. Потом задним числом я понял, что читал его статьи в каких-то сборниках...

В. О.: «Фольклор народов РСФСР»...

С. Н.: Да, это уфимские сборники в бумажной обложке. Но Назиров как явление мне открылся из вашего доклада¹. Раньше я не выделял его из других фольклористов, а после вашего выступления меня очень заинтересовала эта фигура. Может быть, отчасти это было связано с тем, что занимался он таким широким сравнительным семантическим анализом литературно-фольклорной топики в синхроническом и диахроническом аспектах, который близок и мне. Может быть, в связи с этим у меня возникли несколько завышенные ожидания.

Ведь помимо Мелетинского и Проппа, чье влияние я испытал еще со студенческой скамьи, для меня имело огромное значение довольно большое количество работ. В первую очередь — Юрия Михайловича Лотмана (это в самом широком плане), позднее — Кирилла Васильевича Чистова, тоже питерского фольклориста. Его исследования повлияли на меня гораздо больше, чем работы Путилова, но не потому что Чистов «лучше» Путилова, а потому что Путиловский теоретико-методологический инструментарий мне уже не понадобился — у меня был другой, в чем-то аналогичный, а вот Чистовских ракурсов работы с материалом у меня не было. Рассмотрение фольклора как коммуникативного акта

¹Орехов Б. В., Шаулов С. С. Концепция мифа у Р. Г. Назирова (доклад в ЦТСФ РГГУ, 16.09.2013) // Назировский архив. 2014. № 2. С. 162–177.

и многое другое чрезвычайно сильно воздействовало на меня, причем уже в весьма зрелом возрасте.

Так вот, у меня, действительно, затем, при более глубоком знакомстве с работами Назирова, возникло некоторое разочарование, поскольку эволюционистская схема, представленная в этой книжке, ничего нового мне, по существу, не добавляет, кроме каких-то фактов, которые я смог почерпнуть из россыпей его великолепной эрудиции.

Чего мне не хватает в статьях Назирова с точки зрения методологии? Повторяю, я совсем не против его результатов и даже самих исследовательских процедур, однако мне кажется, что этот аналитический инструментарий очень мало отрефлектирован. Он просто инерционно берется из существующей научной традиции (так сказать, похожее сопоставляется с похожим), но нет его методологической проговоренности, обоснования, целеполагания. Я постоянно объясняю своим ученикам: отдавайте себе отчет в том, как обходитесь с материалом, что с ним делаете и с какой целью, какие используете для этого средства, и почему их в одном случае можно применять, а в другом нельзя.

С точки зрения современной фольклористики, мне не хватает более репрезентативных показателей. Когда говорится о чём-то «широко распространённом», хочется не только увидеть ссылку на рассматриваемый текст, но и получить более твёрдую опору для подобного утверждения — не обязательно чисто статистическую, количественную, но хотя бы отсылающую к данным сюжетно-мотивных указателей.

Не хватает рефлексии по поводу актуальных прочтений текста. В первую очередь мы обращаемся к его поверхностному слою, выясняем, как сегодня читается сказка или миф, и дальше уходим вглубь времен, как бы сканируя объект послойно и тем самым исследуя явление диахронически — в типологической или исторической ретроспективе (что, собственно, является частью семантического анализа). Однако на каждом этаже этого пошагового погружения в традицию присутствуют какие-то свои интерпретационные модели. Мы должны иметь по крайней мере предположения, где, как и каким образом работает та или иная интерпретационная модель.

У Назирова разобраны очень интересные примеры, в частности, сюжет о нарисованной на стене или на полу лодке, на которой человек уплывает (из тюремной камеры, например)¹. Однако предположение о передаче данного мотива через казачью традицию выглядит не особенно убедительным. Недостаточно просто сказать, что такое возможно, нужны доказательства, исторический фундамент. Это первое. Далее, если эта история буддистская или как-то связанная с буддизмом, то здесь встаёт вопрос о практиках визуализации, когда некий объект воссоздается с помощью медитации — легенд такого рода в буддистской традиции сколько угодно. Однако тогда появившаяся на стене лодка получает совсем другое значение. Таким образом, при одной и той же арматуре возникают совершенно разные нарративные конфигурации. Следовательно, тут что-то не договорено, чего-то в этой семантической реконструкции явно не хватает. Я вполне готов согласиться с результатом

¹ Нарисованная лодка (к вопросу о происхождении одного фантастического мотива) // Фольклор народов РСФСР. Вып. 12. Уфа, 1985. С. 19–23.

рассмотрения, с тем, что вероятнее всего дело обстояло именно таким образом, но хочу понять, почему «вероятнее». Не хватает эксплицированного инструментария. Скажем, если в таком контексте говорится, что нечто связано со стихией воды, то хочется спросить, где именно связано, в какой картине мира? В «поверхностном слое», с которого мы начали, ведь явно уже не связано? Или эта связанность обусловлена некой «внутренней формой», способной сохраняться в традиции (как?), «прорастая» в культурных текстах последующих эпох? Тут одни утверждения опираются на другие утверждения, вроде даже и не вызывающие возражений, но никак не верифицированные, а сейчас хочется заниматься этими проблемами уже иначе.

Тем не менее, я буду рекомендовать студентам читать многие из этих работ как очень полезные, очень эрудированные, с широким кругозором.

Б. О.: Вы упомянули, что Назиров мог мелькать где-то на заднем плане как один из фольклористов. Но ведь на самом деле он не был фольклористом. Он учился как традиционный литературовед в аспирантуре на кафедре в МГУ, потом долго занимался Достоевским и другими писателями и вдруг в 1980-м году начал писать статьи об истоках фольклорных сюжетов. Это было пришествие в область немного со стороны. Как вам кажется, язык, который неизбежно складывается в области, и по которому видно, насколько человек свой или не свой, — насколько ему удалось его постичь и воспроизвести? Конечно, Назиров не был в изоляции. Рядом был Бараг, с которым он, очевидно, много общался. Но всё же это приход в область со стороны.

С. Н.: Нет, чего-чего, а дилетантизма здесь совершенно не чувствуется. Нет, нет. Он работал абсолютно профессионально. Может быть, создалось впечатление, что я предъявляю какие-то завышенные требования? Это не так. Я не читал работ Назирова о Достоевском. Это не моя область, я не считаю себя компетентным, да и вообще Достоевский как объект изучения меня, честно говоря, интересует мало. Но фольклористические (или условно фольклористические) работы Назирова написаны совершенно не по-дилетантски. Чего еще мне не хватает в них? Анализа текстов. Он мало цитирует, скорее лишь ссылается на материал и приводит какие-то маленькие фрагменты, больше в качестве иллюстраций. В целом похоже, что анализа текста нет и в «рабочей лаборатории» автора. Он использует общее впечатление от текста, которое его обычно, видимо не обманывает, но, строго говоря, этого недостаточно, доказательная база может формироваться только в результате анализа текстов — конкретного и досконального, как это происходит при изучении археологического материала, где тщательное обследование каждой детали предмета может чрезвычайно много рассказать о его значении, прагматике и истории.

Б. О.: Любопытно, что в литературоведческих работах, разумеется, анализ текста присутствует. В связи с Мелетинским, которого вы упомянули, любопытно (тут я позволю себе сослаться на свою работу¹, где я попытался про-

¹Орехов Б. В. Моделирование терминологического тезауруса работ Р. Г. Назирова о мифологии и истории фольклорных сюжетов // Назировский архив. 2015. № 2. С. 119–131.

анализировать научные тексты так, чтобы создать модель терминологической системы), что наиболее похожими получились модели Назирова и Мелетинского (в сравнении с моделями Веселовского и Фрейденаберг). У них наиболее важными оказываются понятия мифа и героя, но миф важнее у Назирова, а у Мелетинского — герой.

С. Н.: Если вернуться к Веселовскому, можно вспомнить о его встречах течений. Влияния не будет, если не будет движения навстречу. Поэтому влияние почти всегда подразумевает наличие каких-то вакансий у принимающей стороны. Если вы говорите, что Назиров начал в 1980-м году, то к 1980-му году Елеазар Моисеевич был едва ли не самым авторитетным фольклористом и мифологом у нас в стране, автором работ, ставших классическими ещё при его жизни. Веселовский — это уже слишком большой временной промежуток, но в каком-то смысле, если прочертить линию данного направления в нашей науке, то оно окажется восходящим к Веселовскому, а далее к Жирмунскому и Проппу, в то время как другое направление в изучении мифа, связанное с именами Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова, в большей мере возводится к Потебне — если речь идет опять-таки об отечественной науке. Впрочем, одно направление не исключает другого, скорее дополняет.

Б. О.: У нас с коллегой С. С. Шауловым есть консолидированное мнение (может быть, это особенно видно на примере книжки, но в статьях тоже, пожалуй), что язык работ Назирова кажется несколько более вызывающим, чем принято в академической сфере, рассчитанный на реакцию в большей степени эмоциональную, чем ту, что ожидаешь от академического текста. Может быть, это тоже связано с недостатком рефлексии и этой методологической прочерченности, о которой вы говорите. Нам в какой-то момент показалось, что для Назирова здесь были авторитетные образцы. Может быть, среди них стоит числить Голосовкера.

С. Н.: Может быть, но мне трудно сказать хотя бы потому что лишь ничтожная часть из написанного Голосовкером была доступна читателю. Яков Эммануилович опубликовал за жизнь очень мало, и в какой мере его работы оказали на кого-то влияние, честно говоря, не знаю. Книжка, которую мы озаглавили «Логика мифа» (на самом деле — «Логика античного мифа», фрагмент труда, который называется «Имагинативный абсолют»), была издана уже после его смерти, т.е. довольно поздно. Кроме того, была в определенном смысле блестящая работа «Достоевский и Кант», изданная только благодаря академику Николаю Иосифовичу Конраду — они были близко знакомы еще со времен своей дореволюционной киевской молодости. В отличие от Мелетинского Голосовкер был не академическим учёным, а поэтом, писателем, переводчиком, философом. Он оставил огромное творческое наследие, часть которого, по-моему, до сих пор не опубликована. В комнате Сигурда Оттовича Шмидта, его племянника и наследника, ниша между изразцовой печью и стеной была заполнена в рост человека папками работ Якова Эммануиловича. А у него самого незадолго до смерти

была лишь крошечная полочка с авторскими экземплярами, и на ней стояли три тоненьких книжки: Гёльдерлин «Смерть Эмпедокла» в его переводе, издательство «Academia» (1931), «Достоевский и Кант» (1963) и детские «Сказания о титанах» (1955). Трагическая фигура.

Б. О.: Конечно, «Логика мифа», я говорю о ней. «Становление мифов» Назирова писалась в начале 1990-х годов, когда «Логика мифа» уже вышла.

С. Н.: Может быть. Но я не знаю, концепция Голосовкера была очень специфическая, очень оригинальная.

Были ли у Назирова ученики? Был ли у него диалог именно в этой области?

Б. О.: Пожалуй, нет.

С. Н.: То-то и оно. С этим, видимо, связано то, что он, как я понимаю, в основном находился вне живого процесса развития академической и университетской фольклористики. Наверное, поэтому я его и не встречал.

Б. О.: Он не мог быть на фольклористических конференциях. Он ездил только на те, которые касались Достоевского.

С. Н.: Значит, я его, скорее всего, никогда и не видел.

Когда Елеазар Моисеевич говорил, что наука — это дело коллективное, я сначала относился к этому высказыванию, как к прописной истине, лишенной живого содержания. Однако за последние четверть века, особенно когда мы открыли свой фольклорный центр¹ с его коллективными проектами, я часто вспоминаю эти слова.

Назирова очень следил за литературой, это видно по ссылкам. Он мог по своей московской аспирантской жизни что-то и знать о Голосовкере. Я еще подростком зачитывался, как и многие, его книжкой «Сказания о титанах», в которой популярно и с неизбежными упрощениями излагались некоторые из его философских идей, относящихся к мифологии. Не знать этой книги Назирова, конечно, не мог.

Б. О.: Я ещё хотел спросить, есть ли какая-то разница между тем, как эти работы могли восприниматься тогда (в 80-е годы или в 90-е) и сейчас. Сейчас и тогда прочитывается это одинаково или по-разному?

С. Н.: Я думаю, что буде этот сборник статей напечатан в 1980-е годы, в Москве или в Питере, имея он достаточный тираж и распространение, он читался бы в захлёб. Тогда он был бы очень к месту, а сейчас несколько опоздал. Монографии это касается еще в большей степени. Когда она была закончена?

Б. О.: В 1996-м.

С. Н.: Это, конечно, уже поздно. Вот если бы она вышла в советское время, тогда была бы значимой, могла бы широко обсуждаться. Кроме того, есть вещи, которые связаны и с техническим распространением идей. Тогда ведь было время бумажной продукции, которая очень плохо попадала, скажем, в другой город. Нужно было, чтобы книжка продавалась в Москве в Академкниге, в каких-то специализированных киосках, чтобы её кто-то читал, написал на неё рецензию, чтобы автор выступал на конференции, интересные

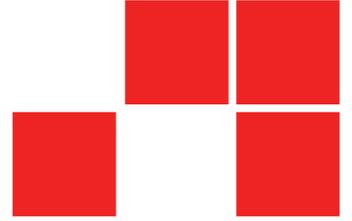
¹Центр типологии и семиотики фольклора РГГУ.

конференции были ещё в 1980-е и в 1990-е. И ситуация была бы совсем другой, более того, подозреваю, что и книжка была бы другой.

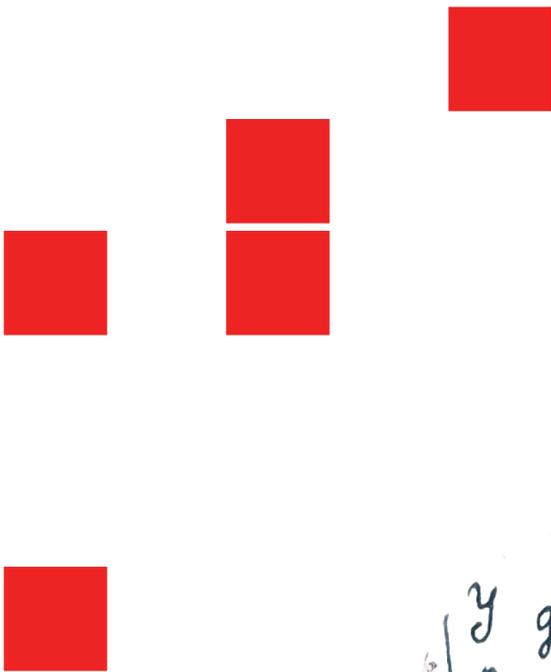
Сегодня фольклористика методологически и инструментально ушла довольно далеко. Оправившись после «кислотных дождей постструктурализма», по выражению одного моего знакомого, она вполне пришла в себя. Много чего было привнесено нового, вроде прагматики фольклора, которая в прошлом практически не разрабатывалась, или коммуникативного аспекта изучения традиции, чему начало положили работы Чистова. Но что-то приходит, а что-то уходит, это неизбежно — смещаются акценты научных интересов. Многие проблемы, многие предметы, которые активно обсуждались раньше, отставлены далеко в сторону, до обидного далеко. Сейчас почти нельзя найти специалиста по былинам, у нас Никита Петров один из немногих на всю страну. Почти нет занятий структурой текста. И так далее..

Б. О.: А можно предположить такую ситуацию, что акценты снова сместятся и труды Назирова будут более актуальны, чем сейчас?

С. Н.: Очень может быть. Сложно предполагать, мы этого не знаем и не понимаем подобных перспектив. Мы перечитываем работу, давно сданную в архив, и вдруг замечаем: как хорошо автор увидел материал, догадался о разных импликациях, заметил неявные закономерности. В принципе, всё талантливое и содержательное может быть актуализовано, а вот насколько это будет применено в практике научного анализа — другой вопрос. Теории прошлого вообще весьма ограниченно используются в гуманитарной науке. Скажем, работа Теодора Бенфея о Панчатантре, изданная в 1859 году, с точки зрения конечного вывода об индийском происхождении сказочного фонда сегодня не выдерживает никакой критики. Однако обследованные варианты и редакции памятника, намеченная им древовидная схема трансмиссии разноязычных книжных версий сохраняет непреходящую ценность. Вообще чрезвычайно важна хорошая, качественная проработка материала. С теориями хуже. Даже когда сейчас мы восторгаемся идеями Лейбница, Паскаля и других великих мыслителей прошлого, это вовсе не значит, что мы можем практически работать с ними, не говоря уже о том, что во многих случаях Лейбниц имел в виду совсем не то, что мы у него вычитываем. Паскаль тем более.



Библиография



У де Толля была сильная близорукость, но он никогда не показывался публике в очках (!!),
Маркс - типичный европоцентрист.
Да и Ленин тоже



Библиография

Дополнения к библиографии Р. Г. Назирова

Опубликованные труды о Р. Г. Назирове

1. Орехов Б. В., Шаулов С. С. Об одном эпизоде издательской истории «Фольклора народов РСФСР» // Проблемы взаимодействия языка, литературы и фольклора и современная культура: Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной памяти известных фольклористов — профессора Льва Григорьевича Барага (1911–1994) и доцента Людмилы Ивановны Брянцевой (1946–2012), (г. Уфа, 1–2 декабря 2016 г.). / Отв. ред. С. А. Салова. — Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. С. 21–23.

Правила для авторов

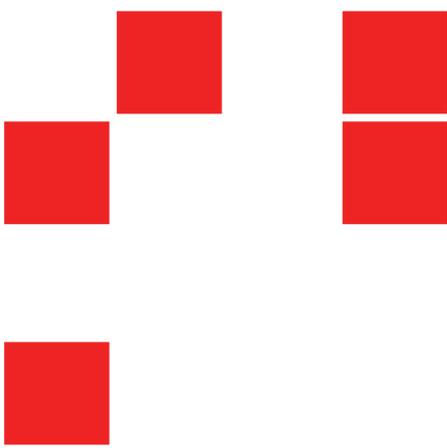
Рукописи в машиночитаемом виде представляются в редакцию по электронной почте nevmenandr@gmail.com. Во избежание недоразумений авторам предварительно следует ознакомиться со статьёй о принципах и целях издания (2013 № 1) до того, как посылать текст на рассмотрение редакции. Непрофильные статьи приняты к публикации не будут.

Ссылки на литературу оформляются в виде постраничных сносок. Фамилия автора цитируемой работы выделяется курсивом. Между названием работы и местом издания, а также между годом издания и страницами тире не ставится.

Вместе с представляемым в редакцию текстом следует прислать и сведения об авторе, включающие фамилию, имя, отчество, аффилиацию.

Вопрос о публикации в журнале будет рассмотрен после внутриредакционного рецензирования.

Публикация в журнале бесплатная.



Элюар более всех сюрреалистов соблюдал принципы отчётливой формы и рационализированных фразы. Очень француз.

mariage de convenance.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire.

fanfaron de vice = тлк, к-рый гордится своей плохой репутацией.

Фрейд считал, что улыбка Жюкоиды - это улыбка матери художника.